

КИММЕРИЙСКОЕ ЛЕТО



СЛЕПУХИН ЮРИЙ

16+

Юрий Слепухин
Киммерийское лето

«ЛитРес: Самиздат»

1971

Слепухин Ю.

Киммерийское лето / Ю. Слепухин — «ЛитРес: Самиздат», 1971

ISBN 978-5-532-95947-7

Роман о молодежи, ее размышлениях о происходящем в мире, о своем месте в нем, об искусстве, о взаимоотношениях со старшим поколением. Действие происходит в 70-е годы XX века в Москве, Ленинграде, Крыму, Сибири. На фоне атмосферы тех лет показаны вечные темы – дружба, любовь, предательство... Особая тема – конфликт поколений, возникающий на фоне практически детективного сюжета, корнями уходящего в события военного времени. В романе действуют повзрослевшие герои «Перекрестка». Главная героиня - десятиклассница Ника Ратманова - переживает трудный и болезненный период душевного созревания, ее комфортная жизнь, романтические планы нарушаются в результате внезапно всплывающей правды о давно совершенных жестоких поступках внутри семьи. Перед Никой встает выбор: простить или беспощадно судить? Нравственные переживания заставляют ее иначе взглянуть и на себя – имеет ли она право на счастье? В романе психологически тонко и талантливо описываются сокровенные человеческие чувства.

ISBN 978-5-532-95947-7

© Слепухин Ю., 1971
© ЛитРес: Самиздат, 1971

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	23
Глава 4	30
Глава 5	34
Глава 6	41
Глава 7	50
Глава 8	56
Глава 9	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Юрий Слепухин

Киммерийское лето

Часть первая

Глава 1

Проснувшись, Ника сразу вспоминает о не выученной накануне физике, и день начинается с ощущения глубокой враждебности всего окружающего. Мать отдергивает штору и распахивает окно настежь, затопив комнату блеском и свежестью солнечного майского утра; однако веселее от этого не делается – всякому понятно, что показное великолепие природы лишь обманчиво прикрывает собою мрачную сущность мироздания. Сущность, которая не может не вызывать решительного протеста.

Протестуя всем своим видом, Ника не спеша бредет в ванную – нарочно не спеша, хотя времени остается не так уж много. Купанье отчасти примиряет ее с действительностью, но потребность в протесте остается. Ника плещется под душем, не заправив в ванну край полиэтиленовой занавески, бросает мыло там, где ему лежать не годится, и оставляет незавинченный тюбик «Поморина» – все это в знак протеста. Она прекрасно знает, что с рук ей это не сойдет, что опять придется выслушивать нотации и рассуждения об упрямстве, неряшливости и иных пороках, и уже заранее возмущается вечными придирадками старших.

Одеваясь у себя в комнате, она тоже протестует. Вчера предсказывали переменную облачность с возможным понижением температуры, и сейчас мать напоминает ей об этом, приоткрыв дверь. Ника отвечает громким театральным вздохом, показывая, что терпение ее уже на исходе, и начинает выбирать белье самое легкое и самое нарядное. Потом натягивает самые тонкие чулки – не потому, что ей так уж приятно носить скользкий тугой дедерон, а просто чтобы лишний раз доказать, что в шестнадцать лет человек (обладатель паспорта) имеет право на самоутверждение.

Едва она, самоутвердившись и до шелкового блеска расчесав щеткой рассыпанные по плечам волосы, появляется в столовой с царственным видом и высоко открытыми мини-юбкой ногами, как снова вспыхивает все тот же вечный конфликт поколений. Кто вообще ходит в таком виде в школу, спрашивает мать, на что Ника отвечает – безукоризненно вежливо, но с убийственным подтекстом, – что все нормальные люди именно в таком виде и ходят. Явиться в класс в вечерних чулках, говорит мать, раньше это и в голову бы никому не пришло, но дочь – еще вежливее и еще многозначительнее – возражает, что раньше им не приходило в голову слишком многое и еще вопрос, стоит ли этим так уж гордиться. После чего отец, до сих пор не принимавший в конфликте прямого участия, грубовато велит ей помалкивать и заняться завтраком, если она не хочет опоздать.

Стрелки часов, действительно, неумолимо приближаются к восьми, и мать, спохватившись, убегает в кухню – ей уходить на работу позже, но нужно успеть приготовить кое-что к вечерней стряпне Ника, окончательно обиженная на весь свет, намешивает в чай полбанки сгущенного молока и тянет этот сироп с блюдечка, как всегда делает баба Катя, со страшным шумом и хлюпаньем – только для того, чтобы нарваться на очередное замечание и тогда с вызывающим видом возразить: «А что такого, интересно, я делаю?» Но все ее усилия на этот раз пропадают даром: у матери в кухне гудит какая-то техника, а отца, сидящего напротив, подобными штучками не проймешь. Он и сам довольно шумно прихлебывает свой кофе, не отрываясь от бумаг и делая на полях пометки тонким красным фломастером.

– Ну, все, – говорит он без пяти восемь и, собрав бумаги, щелкает массивными замками итальянского «дипломата» крокодиловой кожи. – Давай кончай, Вероника, и спускайся, я пока прогрею. Хороши мы с тобой будем, если аккумулятор сел за ночь. Мамочка, ау-у, я пошел!

Ника выносит в кухню поднос с остатками завтрака и снисходительно целует мать. Конфликты конфликтами, но в общем они ладят, – с родителями, надо признать, ей еще повезло, бывают ведь и вовсе ископаемые.

– Ну, беги, беги, – строго говорит мать, втайне любящая дочь – Деньги на обед есть? Ничего не забыла?

– Мамуль, я, кажется, не маленькая...

Чтобы на этот счет не осталось никаких сомнений, Ника, поплотнее прикрыв дверь кухни, успевает еще забежать в спальню родителей и слегка надуться, со знанием дела выбрав на туалетном столике самый запретный из флаконов. Горьковатый аромат «Митсуко» значительно прибавляет ей уверенности в себе, но, увы, ненадолго: в лифте она вспоминает, что помимо физики ее сегодня наверняка вызовут и по географии, что задана была на сегодня экономика пяти стран Латинской Америки, а ее представление об этом экзотическом континенте основывается главным образом на записях мексиканской и бразильской эстрады. Хоть бы и в самом деле сел аккумулятор, думает она с надеждой, троллейбусом в школу, пожалуй, уже и не успеть.

Но аккумулятор не сел, светло-серая «Волга» ждет у подъезда, нетерпеливо урча прогретым двигателем.

– Ты можешь хоть раз в жизни поторопиться? – раздраженно кричит отец. – Каждое утро, понимаешь, одно и то же!

Ника с обиженным видом садится рядом с ним.

Погода великолепна, никакого похолодания, скорее всего, не будет, но уж лучше бы дождь со снегом, чем это лицемерие. Судьба уготовила тебе минимум две двойки, а вокруг все ликует, словно мир и в самом деле устроен как надо...

Подавив вздох, Ника косится на отца, на его руки, так уверенно лежащие на руле. Вот уж кого явно не тревожат мысли о несовершенстве мироздания. Машина проходит под высокой аркой; мягко притормозив, пересекает тротуар и, попетляв по довольно сложной схеме выхода на главную приезжую часть Ленинского проспекта, устремляется с общим потоком движения направо – в сторону Ломоносовского. Здесь она, непрерывно сигналив левой мигалкой, переходит из ряда в ряд, чтобы выскочить на перекресток в крайнем левом; потом, дождавшись зеленой стрелки, взвизгивает покрывками в крутом развороте и, быстро набирая скорость, мчится обратно – к Калужской заставе, к центру.

Спидометр уже показывает семьдесят, серая «Волга» идет у самой кромки разделительной полосы. Занимать крайний левый ряд – даже если все справа свободны – таков стиль езды Ивана Афанасьевича Ратманова. Его маленькая слабость, если хотите, которую он иной раз позволяет себе на державной шире Кутузовского проспекта. А уж здесь-то, дома, где его каждый инспектор знает в лицо... Поезди-ка вот так круглый год ежедневно, в одно и то же время, невольно перепознакомишься со всей районной ГАИ.

Иногда, впрочем, привычный маршрут меняется: на углу Ломоносовского светло-серая «Волга» делает правый поворот, потом еще один перед самым университетом, по проспекту Вернадского взлетает на мост и проносится над излучиной Москвы-реки – мимо гигантской чаши Лужников, пестрых павильончиков ярмарки у Фрунзенского вала, стеклянно-бетонной коробки гостиницы «Юность». Этим путем – по Комсомольскому проспекту, Зубовскому и Смоленскому бульварам – получается несколько ближе, и Иван Афанасьевич ездит так, если очень уж плохая погода или предстоит особо трудный день в министерстве. Обычно же он предпочитает более длинный путь через Калужскую заставу и Замоскворечье – это дает возможность каждое утро побыть с дочерью лишние четверть часа. Глупо, конечно, школу надо

было сменить, а не таскаться теперь с Ленинского на Ордынку, но не захотела. Столько лет, мол, там проучилась, не привыкать же к новому классу за два года до аттестата. Из двух, кстати, уже остался один. Эх, время, время. Ладно, пускай ездит, ему только лучше – по вечерам они почти не видятся, а контактов с детьми терять нельзя, в наше время это ни к чему хорошему не приводит...

Контакты, думает он скептически и, оторвав взгляд от стоп-сигналов идущего впереди «Москвича», посматривает вправо – на этот надменный девчоночий профиль в обрамлении гладких темных волос, подрезанных на лбу блестящей прямой челкой. Сидит, молчит, о чем-то, наверное, думает... А о чем – поди узнай. О школьных своих делах сама ничего не расскажет, а начнешь спрашивать – один ответ: «Нормально...»

Задумавшись, он едва не выезжает на желтый свет – «Москвич» успел проскочить, а «Волга», резко клюнув носом, замирает у самой пешеходной дорожки.

– Вот так, – говорит Ратманов, доставая сигарету, и вдавливая в гнездо кнопку прикуривателя. – С тобой доедешься.

– А при чем тут я, интересно?..

– Будет у тебя взрослая дочка, тогда поймешь, при чем. Ну-ка, наклонись ко мне... Опять у матери на туалете шуровала?

– И не думала вовсе, это мои. Пап, а американцы действительно собираются этим летом высадиться на Луне?

– Да, если не свернут программу...

– Какую программу?

– «Аполлон», какую же еще...

Красный глаз светофора гаснет, под ним вспыхивает желтый и почти сразу сменяется зеленым. Машина, присев на задних рессорах, хищным прыжком кидается вперед.

Мокрый после полива асфальт во всю ширь располосован утренними тенями, свежий майский ветер врывается в открытые с обеих сторон окна. Впереди, полыхнув на солнце стеклами и хромировкой, сворачивает к воротам Академии наук черная «Чайка» – величественно, словно швартующийся корабль.

– Келдыш на работу едет, – снисходительно замечает Ника.

Отец удивленно поднимает брови.

– С чего ты взяла, что это Келдыш?

– Не знаю, очень уж торжественно его везут. Бывают женщины-академики?

– А почему нет, у нас женщины равноправны.

– Ну, это уж вообще... сдвиг по фазе, как говорит Светка. Всю жизнь учиться! Я думаю, это они от недостатка личной жизни.

– Что-что?

– Понимаешь, я читала про Елизавету Английскую, не теперешнюю, а ту, раньше, при Марии Стюарт. У нее было неблагополучно с личной жизнью, и поэтому она всю энергию вкладывала в государственные дела...

На это уже у отца просто не находится что сказать. К счастью, время ежеутреннего контакта с дочерью истекает – они уже почти приехали. Как-то странно неупорядоченная после разлинейной геометрии новых кварталов Юго-Запада, широко и неожиданно распаивается вокруг Октябрьская площадь; шипя покрывками по мокрому асфальту, машина наискось перечеркивает ее стремительной параболой и ныряет в пеструю тесноту Якиманки. Все-таки старые названия живучи, да ведь и неудивительно: улицы Димитрова есть и в Софии, и в Ленинграде, а где, кроме Москвы, можно было найти Балчуг, Козиху, Собачью площадку, Разгуляй...

– Папа, – жалобным вдруг тоном окликает дочь, – можешь ты мне популярно объяснить, что такое дырка?

– Какая еще дырка?

– Ну, в полупроводнике, меня сегодня вызовут...

– А-а. Так тут и объяснять нечего – все проще простого. Дырка – это... как бы сказать...

Ты вот механизм парноэлектронной связи в кристалле представляешь? Хотя бы тот же кремний. В оболочке атома четыре слабосвязанных электрона – раз валентность четыре, верно? – и в кристаллической решетке кремния каждый атом расположен по соседству с четырьмя другими. Эти валентные электроны отщепляются, и за их счет возникает связь внутри каждой пары соседних атомов. Это при низкой температуре. А при повышении кинетическая энергия каждого электрона увеличивается, он покидает свою пару и становится свободным...

– Какую пару?

– Ты что, спишь, что ли? Я тебе объясняю: при низкой температуре валентный электрон передвигается только между двумя соседними атомами, он привязан к кристаллической структуре! А когда связь разорвана, он как бы уходит в сторону, и на его месте образуется вот эта самая дырка. Чего тут не понимать?

– Ага, ну спасибо, – говорит Ника таким тоном, будто и в самом деле что-то поняла. – Где ты меня сегодня высадишь?

– Посмотри-ка сзади, там, кажется, гаишник едет.

– Он еще далеко, – говорит Ника, оглянувшись.

– Тогда давай сейчас, вот за этим автобусом...

Дело в том, что по всей улице Димитрова висят красно-синие перечеркнутые накрест круги запрещающих знаков: остановить машину нельзя даже для посадки пассажира. А ближе к мосту, на Полянке, и подавно не остановишься. Иван Афанасьевич еще раз бросает взгляд в зеркало, прикидывая расстояние до идущего сзади патрульного мотоцикла, потом решительно обгоняет неторопливый автобус и под его прикрытием притормаживает у тротуара напротив магазина «Букинист», почти у слияния улицы Димитрова с Большой Полянкой. Дочь торопливо чмокает его в висок, хлопает дверцей, и он успевает отъехать за секунду до того, как из-за автобуса показывается кремовый с сине-красной полосой мотоцикл ГАИ. Опоздали, товарищ инспектор, опоздали...

Грузный пятидесятипятiletний человек, руководитель главка и вероятный кандидат в замминистры, веселится, как школьник, ухитрившийся провести кондуктора. Прежде чем переключить скорость, он оглядывается: дочь, лениво размахивая портфелем, пересекает Полянку, чтобы скрыться в одном из проходных дворов; отсюда Толмачевским переулком самый короткий путь на Ордынку. Какая, однако, взрослая девица, удивляется он вдруг, словно впервые увидев ее после долгой разлуки. А юбчонки эти – просто черт знает что, непонятно даже, как школа такое разрешает. Ведь, в сущности, вот так, с мелких поблажек, все и начинается...

Но дочь уже скрылась из виду, и мысли Ивана Афанасьевича тотчас переключаются на другое. Завтра ему выступать на коллегии, а часть цифр, которые он намерен выложить как свой главный козырь, нуждается, как вчера выяснилось, в проверке и уточнении; прикидывая в уме, кому из сотрудников поручить сейчас это дело, он выжимает педаль газа почти до полу и уверенным поворотом руля вгоняет «Волгу» в поток машин, летящих на взгорбленный впереди Каменный мост.

А Ника Ратманова продолжает свой путь безо всякой уверенности. Твердо она уверена лишь в одном: двойка по физике ей сегодня обеспечена. Географичка может и не вызвать, это уж как получится, а вот с физикой – тут все железно. Нельзя сказать, что ее так уж страшит плохая оценка сама по себе (слава богу, уж кем-кем, а зубрилкой-пятерочницей она никогда не была), но дома будут разговоры на эту тему – приятного, конечно, мало. Хорошо хоть, успела написать сочинение, а то бы вообще полный завал...

В уютном дворике, солнечно-тенистом от уже зазеленевшей сирени, она присаживается на скамью и достает из портфеля учебник. Перед смертью, говорят, не надыхайся, но все же. «...Число дырок в кристалле равно числу атомов примеси. Такого рода примеси называются акцепторными (принимающими). При наличии электрического поля дырки перемещаются по полю и возникает дырочная проводимость. Полупроводники с преобладанием дырочной проводимости над электронной...» Нет, безнадежно. Ника захлопывает книгу, зажмуривается, пытаясь представить себе перемещающиеся по полю дырки, и зрелище это столь безотраднo, что ею овладевает еще горшее отвращение к физике. Как могла Светка выбрать себе такую специальность?

Спрятав учебник, она достает зеркальце и помаду, слегка подкрашивает губы – чуть-чуть, едва заметно – и сидит, со смешанным чувством зависти и жалости глядя на играющих, неподалеку малышей. Беззаботный возраст, но, с другой стороны, у них все еще впереди, да и не только это. В одной полупроводниковой технике сколько появится нового, пока эти несчастные доучатся до последних классов! «Мы были как вы, вы будете как мы». Если не хуже.

Время, однако, идет. К первому уроку она уже опоздала – неважно, явится прямо на физику, тоже неплохо. Но тогда еще рано, можно пока и погулять. Трудно поверить, что есть люди, которым не нравится Замоскворечье, которые предпочитают Арбат или даже какие-нибудь там Черемушки, Фили, Химки-Ховрино; строго говоря, это вообще уже не москвичи, это извращенцы. Настоящий москвич, считает Ника, не может не любить всю эту старину, уютную путаницу тупичков и переулков, дворики и садов, где летом так сладко пахнет липами... Ей вот самой никак не привыкнуть к Ленинскому проспекту, хотя и там, конечно, есть свои преимущества – можно, скажем, подойти к окну и увидеть, как едут из Внукова космонавты или какая-нибудь правительственная делегация. Но нет, все равно там неуютно – все слишком новое, и многоэтажное, и необжитое. А здесь – здесь сердце Москвы, здесь ты на каждом шагу чувствуешь, что идешь по городу, которому восемьсот лет...

Добравшись до угла Лаврушинского переулка, где неожиданно и как-то инородно торчит унылая девятиэтажная громадина, Ника вдруг сворачивает налево, к галерее. «Вообще не пойду сегодня ни в какую школу, – решает она внезапно, – буду лучше сидеть и смотреть на “Троицу” – по методу Андрея». «Думаешь, ты что-нибудь поймешь с первого взгляда? – сказал он ей как-то. – Нужно сесть напротив и смотреть час, другой, третий, – только тогда начнешь понемногу понимать, что такое Рублев...»

Галерея, к сожалению, открывается только в десять. Ника проходит мимо, пытаясь решить, нравится ей Андрей Болховитинов или не нравится. В общем-то, конечно, из всех мальчишек в классе он самый интересный как человек, да, пожалуй, и внешне. Но что-то в нем есть... трудно даже определить, что именно, но это неопределимое ее отпугивает. Какая-то скрытая... одержимость, что ли, которая при случае может, наверное, обернуться и жестокостью. Хотя почему, казалось бы? Ван-Гог был одержим, и Микеланджело тоже, но разве их назовешь жестокими... А вот Андрей дал ей прочитать «Луну и грош» и сказал, что Стрикленд – это настоящий художник по характеру и что он очень хорошо его понимает. Ей же самой характер Стрикленда показался отвратительным. Неужели Гоген действительно был таким?

В самом начале Лаврушинского переулка, там, где он под прямым углом отходит от набережной, есть маленький зеленый пятачок, каких много в этой части города. Ника садится на горячую от солнца скамейку, запрокидывает голову, прикрыв глаза. Уже можно и позагорать. К остановке подходит кольцевой автобус, кто-то объясняет кому-то, как пройти к Третьяковке, и снова опускается вокруг тишина – особая, здешняя, замоскворецкая. От этой ли тишины, или от солнечного тепла, или от мысли об Андрее, но Нике делается все более и более грустно. Это даже не грусть, а какое-то чувство неудовлетворенности – всем решительно. Начиная от школы, где ее заставляют учить заведомо ненужные вещи, «дают информацию», которая ей никогда в жизни не пригодится, и кончая самой собой. Или, вернее сказать, начиная с самой

себя – глупой, бестолковой, не умеющей определить своего места в жизни, не знающей толком, чего от этой жизни хотеть. Действительно, при чем тут школа, при чем тут преподаватели...

Интересно, ощущают ли эту неудовлетворенность другие ее сверстники? Возможно, что ощущают. Не случайно ведь всех тянет к необыденному – к бригантинам, к алым парусам, к сказке; даже в эстрадных песенках сплошь пошли гномы да великаны. Мама говорит, в ее молодости само понятие романтики было иным, мальчишки тогда мечтали о войне, убегали в Испанию... А у нас? Целина давно освоена, в космос пока не убежишь, остаются бригантины, да еще «сбацаем шейк, старуха!». Или вот стали носить мини – для чего? Сначала самой было неловко, чувствовала себя голой, потом привыкла – носят же другие. Противно, конечно: обезьянничает, как мартышка, до полного неприличия...

– Девушка, вы не подскажите, к Третьяковке как тут пройти?

Ника встает, объясняет, как пройти к Третьяковке. Уже без четверти десять, и посидеть спокойно теперь не дадут – все будут спрашивать, как пройти, хотя что тут спрашивать, если на стене нарисована стрела с надписью «Третьяковская галерея». Первый урок кончился, сейчас переменка, а потом будет физика. Ника направляется было следом за группой приезжих, которые спрашивали у нее дорогу, но решает, что еще рано – к открытию там всегда толчея, лучше обождать, – и, повернув обратно, переходит через набережную.

Положив портфель на каменную тумбу парапета, она облокачивается на него и долго смотрит на воду, мутную, почти неподвижную; потом поднимает голову и медленно обводит взглядом знакомую панораму Болота. Слева, за мостом, кинотеатр «Ударник», уступчатой надстройкой и двумя высокими трубами немного напоминающий старинный броненосец. Рядом с ним, правее, громоздятся серые конструктивистские корпуса огромного мрачного жилмассива. А прямо впереди, на том месте, где когда-то казнили Пугачева, ярко, в упор освещенный солнцем, зеленеет сад вокруг памятника Репину, и над верхушками деревьев видны вдали кровли Большого Кремлевского дворца.

Первые четыре класса Ника училась на Софийской набережной – вон там, за этим садом. Потом спецшколу оттуда перевели, сейчас она здесь по соседству, в одном из Кадашевских переулков, но тогда находилась рядом с английским посольством. Учиться там ей не нравилось; преподаватели были хорошие, но с одноклассниками она не ладила, поэтому и настояла потом, чтобы перейти в другую школу. Хотя мама была против – та, первая, считалась более престижной. Странно, думает Ника, вроде бы и не так много лет прошло, а детство кончилось...

Приятно, конечно, чувствовать себя взрослой, но если всерьез – иногда вдруг делается и страшновато: а что дальше? Это ведь тоже не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Вернее, вопроса вообще нет, если соглашаться на готовые решения, принятые за тебя другими; а если хочешь решать сама, до всего доходить своим умом?

Вздыхнув, Ника оттягивает рукав коричневого форменного платья, чтобы посмотреть на часы, и тут происходит катастрофа: где-то далеко внизу раздается увесистый всплеск, только что лежавший здесь на тумбе портфель уходит под воду, скользнув по каменному откосу стенки, и всплывает уже поодаль, покачиваясь на волне и взблескивая латунным замочком.

При внезапной беде обычно не сразу осознаешь все ее значение, голова в первый момент занята скорее побочными, второстепенными обстоятельствами случившегося. Ника разинув рот смотрит на портфель и думает о том, скоро ли он утонет и утонет ли вообще. Вообще-то не должен: книги – ведь это та же целлюлоза, а дерево плавает и намокшее. И только потом до нее доходит, что запас плавучести портфеля – это сейчас вовсе не главная ее проблема. Вот он удаляется – все-таки уплывает, хотя течение здесь и медленное, – а вместе с ним уплывают учебники, тетради, дневник, переписанное набело сочинение, кошелек с полтинником на обед и обратную дорогу, весь тайный запас косметики и французская четырехцветная «Каравелла»... Ника беспомощно оглядывается – на набережной, как назло, ни одного рыбака – и вдруг еще шире раскрывает глаза, в ужасе прижимает к губам ладошку: ключ-то от квартиры тоже уплыл!

Вот теперь ею овладевает полнейшее спокойствие. Бывают положения, когда человеку можно не опасаться ничего на свете, когда человек буквально неуязвим – по той простой причине, что ему уже нечего терять и все, что могло с ним случиться, уже случилось. Занятия пропущены без уважительной причины, сочинение не сдано, портфель потерян, в квартиру самой не войти – значит, придется ехать к маме на работу. Ну и прекрасно! Она с самого утра знала, что ничем хорошим этот день не кончится. Что ж, лишнее доказательство в пользу неотвратимости судьбы. «И от судеб защиты нет» – это написано еще когда. И кем!

Около полудня, проголодавшись, Ника появляется во дворе по Старомонетному переулку, где прошли первые четырнадцать лет ее жизни. Здесь все по-прежнему: те же раскидистые тенистые тополя, тот же пузатый и подпертый со всех сторон балками двухэтажный флигель, который обещают снести уже который год. Теперь, наверное, уже нет смысла: дешевле подождать, пока развалится сам. Баба Катя, бывшая домработница Ратмановых, сидит на солнцепеке у своего полуподвального крылечка, чистит картошку в облупленном эмалированном тазу.

– Здравствуйте, баба Катя! – Ника подходит, целует старуху в макушку и усаживается рядом на низкую скамеечку, выставив туго обтянутые дедероном колени.

– А-а, Верунька, это ты, милая. Спасибо, что проведать зашла. Чегой-то так рано сегодня со школы? Другие еще не прибегли. Во вторую смену, что ль, занимаешься теперь?

– Нет, почему же... в первую, как и всегда. Я, баба Катя, не была сегодня в школе. У меня, баба Катя, какой-то ужасный сегодня день. – Голос у Ники начинает дрожать. – В школу я не пошла, портфель потеряла, вообще... Дайте я вам буду помогать!

Она решительно забирает у бабы Кати недочищенную картофелину и ножик, лезвие которого сточено до узкого клинышка.

– Глазки-то чище выковыривай, – говорит баба Катя, – картошка нынче в овощном сплошь проросшая. Что в школе не была, это ладно, – вам теперь хоть вовсе не ходи, все равно не выгонят. Учительница тут вчера к Савельевым приходила – ну вся как есть изревелась. Молоденькая такая. Сил моих, говорит, больше никаких нету. Генку-то ихнего зимой в пэтэу списали, месяца не проучился – опять в школу вернули. Нет, нынче вашему брату жизнь пошла легкая... то-то вы заголясь бегаете. Передник хотя б возьми, прикройся, мужики по двору ходят...

Ника, смутившись, быстро прикрывает колени передником.

– А портфель-то куда ж девался? – спрашивает баба Катя. – Фулиганы, что ль, отняли? Так вроде давно такого не было. В сорок шестом-то году, помню, у меня на углу хлебные картофочки выхватили, и охнуть, милая, не успела, во как...

– Нет, какие там хулиганы, – Ника вздыхает. – Я его сама уронила в реку, понимаете? Засмотрелась, а он упал. Я теперь как погорелец, баба Катя, одолжите мне тридцать копеек. Понимаете, мне нужно хотя бы стакан кофе с пирожком, иначе Я умру с голода, – это двадцать четыре копейки, ну и пятак, чтобы доехать к маме на работу. Свой ключ я ведь тоже утопила, мне просто не войти в квартиру...

– Ну-у, девка, плохи твои дела, – сочувственно говорит баба Катя. – Портфель-то вроде новый был? Светленький такой, импортный, помню, помню... Сколько, говоришь, денег-то тебе надо?

– Тридцать копеек. Точнее, двадцать девять, я просто округляю.

– Это значит два девяносто... – Баба Катя погружается в какие-то сложные подсчеты. – Есть у меня, Верунька, деньги, слышь ты, только за свет нужно заплатить, два месяца уж не плочено... Да ты погоди, сейчас все посчитаем...

Баба Катя кряхтя встает, уходит, потом возвращается с очками, кошельком и квитанционной книжкой.

– Сосед вчера выписал по счетчику, – говорит она, разворачивая книжку, – не знаю еще, сколько тут... А ты пока погляди-ка, чего там в кошельке-то осталось...

Ника вытряхивает из кошелька две помятые желтые бумажки, металлический юбилейный рубль и еще какую-то мелочь. Всего оказывается три рубля шестьдесят восемь копеек.

– Видишь, как выходит, – говорит баба Катя. – За свет-то нужно рупь семьдесят. Тебе и двух рублей не наберется...

– Да зачем мне столько, – смеется Ника. – Мне нужно тридцать копеек, баба Катя! Вот смотрите, я беру – видите? А это вам.

– Ты ж сказала – два девяносто! – сердится старуха. – Только путаешь, ну ты к лешему...

– Какие два девяносто! Это вы сказали – два девяносто, вечно вы на старые деньги все переводите – увидите вот, обсчитают вас когда-нибудь.

– Ладно, ладно. Только слышь, Верунька, ты в пирожковую-то эту не ходи, нечего себе желудок смолоду портить, мы вот сейчас картошки сварим да поедим, а ты сбегай покаместь заплати за свет, сберкасса-то наша помнишь где?

Ника берет квитанционную книжку, два рубля и бежит в сберкасса. Потом они с бабой Катей обедают – едят картошку, политую пахучим подсолнечным маслом, и пьют из раскаленных эмалированных кружек немного отдающий веником чай. Нике очень хочется поделиться с бабой Катей какими-то своими мыслями, но эти мысли пока не очень ясны ей самой, а баба Катя за последний год стала немного бестолковой.

Странно – вокруг так много взрослых, а поговорить по-настоящему не с кем. Даже с родителями. Даже с мамой! Слишком у этих взрослых все получается ясно и просто, обо всем есть готовое мнение, все разложено по полочкам. Быть троечницей – позор, никакой серьезной любви в школьном возрасте быть не может, человек без высшего образования – вообще не человек. Ну и так далее. Ученье – свет, а Волга впадает в Каспийское море.

– Они мне говорят: в десятом классе уже нужно знать, какую профессию выбрать! – говорит она возмущенно и дует на свою кружку, пытаясь хоть немного остудить край. – А я вот ни малейшего понятия не имею, правда я еще не в десятом... Это еще посмотрим, переведут ли меня, – добавляет она.

– Переведут, никуда не денутся. Чего им с тобой еще год возжаться, шутка ли. А за професие ты не переживай, професие в наше время приобрести всякий может. В инженера пойдешь, нынче что ни девка, то инженер. Конечно, заработок не тот, зато работа чистая, легкая. А еще, глядишь, и за границу куда пошлют, полушалока мне привезешь мохеровый. Вон, у Петуниных Зинка с делегацией ездила, так там...

– Инженер вряд ли из меня получится, – говорит Ника с сомнением. – По математике-то сплошные тройки. Да и неинтересно мне это...

– Ленивая ты, Верунька, ох ленивая.

– Не знаю, баба Катя, – Ника, подумав, пожимает плечами. – Иногда мне кажется, что я могла бы сделать что угодно, если только почувствовать, что это действительно нужно, а не просто «так принято»...

Забыв о своем чае, она задумчиво смотрит в подслеповатое окошко. На дворе уже полетнему солнечно. В дальнем углу Савельев-старший возится со своей вишневой «Явой», наверное готовится к техосмотру; по расчерченному «классами» асфальту суетливо ковыляют раскормленные, сизые с отливом замоскворецкие голуби. Да, скоро каникулы. А потом десятый класс. А потом? Она пытается представить себе это «потом» – безуспешно, жизнь ведь такая странная штука: в чем-то у всех одинакова, а в чем-то совершенно, абсолютно индивидуальна и неповторима, и именно вот это твое, неповторимое, предназначенное только тебе одной, – этого-то и нельзя ни предвидеть, ни представить, ни угадать; можно лишь предчувствовать, и это предчувствие вдруг – на одну лишь секунду – наполняет ее ощущением огромного, невыразимого, беспредельного счастья. Оно взрывается, как вспышка, короткая и ослепительная,

и тут же наступает отрезвление – вспоминается утонувший портфель, предстоящий разговор с мамой и все прочее. Да, попробуй еще доживи до этого блистательного «потом»...

– Я пойду, наверное, – грустно говорит Ника. – Спасибо за обед, баба Катя, – добавляет она совсем уже унылым тоном.

Глава 2

Елена Львовна Ратманова всегда умела находить оптимальные решения проблем, которые другим оказывались не под силу. Работники, обладающие таким умением, обычно считаются незаменимыми, и Елена Львовна давно уже приобрела репутацию незаменимого работника, хотя специального образования не имела и занимала в редакции ведомственной газеты довольно скромную должность заведующей секретариатом. Кроме того, ее уже на второй срок избирали председателем месткома. Здесь она действительно была на своем месте – именно на таком посту от человека требуется терпение, такт, хорошее знание людей и, главное, умение сглаживать острые углы и примирять противоречия.

С тем же терпением и тактом она решала свои семейные проблемы. В частности – и этим, пожалуй, Елена Львовна гордилась больше всего, – ей удалось найти и устойчиво сохранять равновесие между двумя полюсами притяжения, которые больше всего влияют на жизнь современной женщины: семьей и работой. Как бы ни поглощали ее редакционные дела, она никогда не забывала о своем долге матери и хозяйки дома. По мере сил способствовала она и успешной карьере мужа: не то чтобы «проталкивала» его, как это делают иные жены, – у Ивана Афanasьевича у самого хватало деловых качеств, – но... Тут ведь очень большую роль играют всякого рода побочные, казалось бы и незначительные на первый взгляд обстоятельства, а именно по части использования обстоятельств Елена Львовна всегда была великая мастерица.

Со старшей дочерью, которая жила в новосибирском Академгородке, у нее были, в общем, прекрасные отношения, хотя и чуточку холодноватые, без тепла и настоящей близости. Возможно, в этом виноват был характер самой Светы, суховатый и слишком рассудочный, – не случайно ее потянуло на физмат, – а может быть, вина была и ее собственная. Света росла в трудные военные и послевоенные годы, когда жизнь была совсем другой, и, может быть, в чем-то она не проявила достаточной заботы, – думая об этом, Елена Львовна испытывала иногда неясное чувство вины. Впрочем, в том, что старшая дочь выросла рационалисткой, она большой беды не видела.

Куда больше тревог и забот уже сейчас доставляла Вероника. В отличие от старшей сестры, которая с первого класса шла на одних пятерках и в университет попала вне конкурса, девочка училась неважно. Очень неважно. И у нее бывали причуды: она вдруг задумывалась, становилась беспричинно раздражительной, грубила. Правда, уходить без разрешения из дому она еще не осмеливалась, но могла запереться у себя в комнате и целый вечер слушать песни Высоцкого – про тау-китян, про нечисть, про то, как опальный стрелок торговался с королем насчет платы за избавление от чуда-юда. В таких случаях Елена Львовна предпочитала не идти на открытый конфликт и делала вид, что ничего особенного не происходит.

Она утешала себя тем, что пройдет время и дочь перебесится. Такой уж возраст, и у разных натур этот перелом проходит по-разному. Так что, строго говоря, и на это жаловаться не приходилось.

В общем, Елена Львовна могла считать себя счастливым человеком. У нее была прочная семья, положение в обществе, интересная работа, материальная обеспеченность. В пятьдесят лет она выглядела не старше сорока пяти, подтянутая, моложавая, всегда безупречно одетая в точном соответствии с возрастом, Елена Львовна еще пользовалась успехом и знала это. Тем приятнее было ей показываться на людях вместе со своей младшей и уже почти взрослой дочерью.

В этот день, незадолго до конца уроков, «почти взрослая» дочь позвонила ей и каким-то особенно несчастным голосом потребовала немедленного свидания.

– Я звоню из автомата, – сказала она, – тут, на углу, рядом с тобой.

– Почему ты не в школе?

– Ну... вот так получилось. Я поднимусь сейчас и все тебе объясню. Ладно, мама?

– Хорошо, приходи, – сказала обеспокоенная Елена Львовна. Положив трубку, она привела в порядок бумаги на своем столе и встала.

– Наташа, голубчик, мне нужно пообщаться с ребенком, у нее очередное чепе. Если будет что-нибудь срочное, позвоните в буфет, я буду там...

В редакционном буфете в этот час былолюдно. Елена Львовна не сразу нашла свободный столик в углу и тут же, оглянувшись, увидела дочь и помахала рукой.

Она смотрела, как Ника идет к ней через зал – как всегда, с немного отрешенным видом, чуточку не от мира сего, словно только что проснувшаяся, двигаясь с какой-то неуклюжей грацией, – и ей опять подумалось, что в чем-то она все же совершенно не знает дочери. В частности, для нее загадка: отдает ли девочка себе отчет в своей стремительно расцветающей женственности? Боже мой, еще год назад это был такой гадкий утенок...

– Здравствуй, мамуль. Ты не угостишь меня черным кофе? – непринужденно спросила Ника, опускаясь в изогнутое пластиковое креслице.

– Потом. Почему ты не в школе, Вероника?

– Понимаешь, я сегодня решила не идти в школу, а просто походить и подумать о своем будущем...

– О чем?

– Ну, о будущем, должна же я что-то для себя решить! Знаешь, мама, я вообще не уверена, что мне стоит доучиваться в десятом классе.

– Великолепная мысль. Чем же ты думаешь заняться?

– Какое-то время я хотела бы пожить просто так. Ну, созерцательной жизнью, понимаешь?

– Милая моя, в наше время созерцательная жизнь называется тунеядством.

– Вовсе я не собираюсь быть тунеядкой, – возразила Ника. – Я бы пошла работать.

Елена Львовна вздохнула и покачала головой.

– Куда? – спросила она. – Кем? Кто тебя возьмет, кому ты нужна? Ты не умеешь печатать на машинке, не знаешь основ делопроизводства...

– Господи, при чем тут делопроизводство или машинка?! Я что, собираюсь работать секретаршей? Мне нужна такая работа, чтобы были заняты только руки и можно было бы работать и думать...

– Час от часу не легче. Ты, значит, собралась на завод?

– Лучше на какую-нибудь фабрику – текстильную, кондитерскую, что-нибудь в этом роде. «Рот-Фронт», например, – это совсем недалеко от школы, и туда можно устроиться заворачивать конфеты. В конце концов...

– В конце концов, – перебила ее Елена Львовна, – я не желаю больше обсуждать подобную дичь. Когда ты начнешь умнеть?

– Но я уже начала, неужели не заметно? Ведь еще год назад я просто не задумывалась над некоторыми вещами, а теперь задумываюсь. Когда человек над чем-то задумывается, это уже хорошо само по себе, разве нет?

– Вероника, – терпеливо сказала Елена Львовна, – задумываться можно над чем угодно, но у человека есть в мозгу какой-то фильтр, который задерживает ненужные мысли. У нормального человека, я хочу сказать.

– А что такое нормальный человек? И что такое ненужные мысли? Кто может определить, нужны они или не нужны?

Елена Львовна опешила.

– То есть как это – кто? – спросила она после паузы. – Уж не ты ли сама собираешься это решать? Я не понимаю, откуда у тебя этот... цинизм, это полнейшее нежелание признавать авторитет старших!

– Ну мама, – с упреком сказала Ника. – С чего ты взяла, что я не признаю твой авторитет? Я просто...

– Довольно, – отрезала Елена Львовна. – Повторяю, я не хочу больше выслушивать эти глупости. В шестнадцать лет люди не философствуют, а учатся. А ты учиться не хочешь, ты просто начинаешь опускаться. Посмотри на себя!

Ника, поняв последние слова буквально, посмотрелась в оконное стекло: рама, открытая внутрь, отразила ее как в зеркале.

– Да, знаешь, что мне сегодня пришло в голову. – Она отвела назад рассыпанные по плечам волосы и собрала их на затылке. – Может быть, лучше как-то так?

– Нет, нет, тебе идут длинные. И не перебивай меня, пожалуйста! Я говорю, посмотри на себя со стороны: взрослая девушка, через год получает аттестат, а ведет себя хуже всякой первоклассницы! Вместо того чтобы идти в школу, таскается по улицам, думает черт знает о чем, – я просто слов не нахожу! Ну хорошо, ты пропустила первый урок. А потом?

– О, я и забыла тебе сказать, – небрежным тоном объявила Ника. – Я ведь потеряла портфель. Так что идти в школу потом было уже просто не с чем. Только ты, пожалуйста, не смотри на меня такими глазами, – портфель упал в воду, я вовсе не виновата. Упал, и все. И поплыл! Не прыгать же было за ним в Москву-реку, согласишься сама...

– Вероника, ты просто издеваешься надо мной, – сказала Елена Львовна ледяным голосом. – Ты что, действительно потеряла портфель?

– Да, и ключ тоже.

– Какой ключ?

– От квартиры, он был в портфеле. Я для этого и пришла, чтобы взять твой.

– И тоже потерять?

– Ну, уж теперь-то нет! Если у тебя найдется веревочка, я могу повесить его на шею.

– Вот-вот, – Елена Львовна горько усмехнулась – Я говорю, ты даже не первоклассница. Ты где-то на уровне детского сада, Вероника, это в детском саду малыши ходят с ключами на шее.

– Я спрячу его под платье, и все будет прилично. Ты хотела угостить меня кофе?

– Хорошо, поди принеси, – Елена Львовна протянула дочери кошелек. – Мне двойной с лимоном, без сахара.

– Как ты можешь такую гадость, бр-р-р. А себе я возьму эклер, хорошо?

– Какой еще эклер? Не хватает только, чтобы ты за свое прекрасное поведение получала пирожные!

Ника удалилась с обиженным и меланхоличным видом, надрывая материнское сердце «Может быть, зря я не позволила ей скушать этот несчастный эклер? – подумала Елена Львовна. – Да нет, нужно же как-то воспитывать...»

– Не думай, кстати, что твое наказание ограничится лишением пирожного, – сказала она, когда дочь вернулась, неся две чашечки «эспрессо».

– Дома ты поставишь меня в угол?

– Нет, милая моя, в угол не поставлю. Но если у тебя были запланированы какие-то мероприятия, то теперь можешь их аннулировать. Потому что до конца мая ты из дому не выйдешь. То есть в школу, разумеется, ходить будешь. Но и только!

Она потыкала ложечкой ломтик лимона, поднесла чашку к губам и только после этого посмотрела на дочь. Та сидела с совершенно несчастным видом.

– Мама, послушай...

– Да?

– Мама, ну ты же помнишь... у Андрея два билета в «Современник», на двадцать шестое. Он пригласил меня еще когда, ты же помнишь...

– Я помню, помню. Но я хочу, чтобы и ты помнила, что тебе уже шестнадцать и что в таком возрасте люди должны отвечать за свои поступки. А Андрею ты скажешь, что плохо себя вела и тебя наказали.

Большие темно-серые глаза дочери начали быстро наполняться слезами.

– Только, пожалуйста, без этого, – непреклонно сказала Елена Львовна.

Тут она действительно была непреклонна, хотя минуту назад испытывала раскаяние, не разрешив дочери полакомиться пирожным. Для того чтобы наложить на девочку еще одно, и гораздо более суровое, взыскание, были особые причины. Дружба Вероники с этим Андреем Болховитиновым нравилась Елене Львовне все меньше и меньше, и, хотя ничего серьезного, судя по всему, между ними не намечалось, лучше было заранее принять меры. Будучи матерью передовой и современной, она не собиралась протестовать против того, чтобы дочь бывала в обществе знакомых мальчиков. Но мальчики вообще – это одно, а один определенный, конкретный мальчик – это уже нечто совсем другое. И об этом «другом» Веронике думать пока рано. Слишком рано.

Она допила кофе, порылась в сумке, достала ключ, деньги, книжечку троллейбусных талонов, уложила все это в портмоне и протянула дочери.

– Бери и поезжай домой. Посмотри, есть ли хлеб, – если нет, сходишь в булочную. Да, и возьми еще молока и две бутылки кефира.

– Хорошо, – отозвалась Ника подчеркнуто покорным голосом. – Ничего больше не нужно?

– Ничего. Если вспомню что-нибудь, куплю сама на обратном пути. И чтобы никуда не заходила, слышишь?

– Да, но в школу-то мне зайти придется, то есть не в школу уже, а просто повидать кого-нибудь...

– Для чего?

– Ну... узнать, что задали, и вообще! Понимаешь, по телефону это бесполезно, все равно перепутают, – убеждающе сказала Ника.

– Зайди, только ненадолго, и сразу домой.

– Хорошо, мама...

К школе Ника подъехала с таким расчетом, чтобы уже не нарваться ни на кого из преподавателей, но еще застать тех, кого ей нужно было увидеть. Издалека, через улицу, она оглядела школьный двор, вернее, ту его часть, что была доступна обозрению с противоположного тротуара. Впереди, слева от ворот, был разбит чахлый палисадничек, за ним – обнесенный металлической сеткой корт, в этот час уже пустые и тихие. Впрочем, Ника и не рассчитывала увидеть здесь своих приятелей. Компания их, если и оставалась поболтать вместе после уроков, предпочитала делать это на пяточке у церкви Всех Скорбящих – хоть и рядом со школой, но все же не так на виду.

Происхождение этого пяточка было неизвестно. То ли место так и оставалось почему-то незастроенным, то ли стоявший тут дом сгорел во время войны от немецкой термитной бомбы, но сейчас здесь образовался крошечный тенистый скверик, ничем не огороженный со стороны тротуара и втиснутый между ротондой храма и торцевой стеной четырехэтажного дома по правую руку, со стороны школы.

«Банда» из девятого «А», в хорошую погоду иногда проводившая здесь час-другой, прежде чем разойтись по домам, удивляла Многих преподавателей своим составом. Классная руководительница Татьяна Викторовна попыталась однажды выяснить у своего сына, чем, собственно, привлекает его дружба с Ренатой Борташевич, одной из самых пустых и легкомысленных девочек в классе, или тем же Игорем Лукиным, чьей заветной мечтой было купить электрогитару и сшить себе красный сюртук с золотыми пуговицами (о чем он во всеуслышание

объявил однажды на комсомольском собрании). Но выяснить ей ничего не удалось: Андрей, по обыкновению, отмалчивался, потом пожал своими в косую сажень плечами и пробасил нехотя, что в каждом человеке можно что-то найти, надо, мол, только уметь видеть. Возразить против этого было трудно, но понять подобную дружбу – еще труднее. Поражало преподавателей то, что в этой же компании оказались Петя Аронсон и Катя Саблина – чуть ли не самые способные пятерочники школы, уже участвовавшие в районных и городских математических олимпиадах.

Сейчас эта примерная пара сидела на скамейке плечо к плечу, читала какой-то затрепанный журнал, сблизив головы, и синхронно давилась смехом. Андрей Болховитинов рисовал, развернув на колене альбомчик, который постоянно таскал с собой, а Игорь рядом с ним копался во внутренностях маленького транзисторного приемника.

– Привет, – сказала Ника, подходя. – Все живы?

– Если это можно назвать жизнью, – отозвался Игорь. – Ты чего это так рано?

– А, не говори. С утра сплошные неприятности...

– Это, старуха, у всех. У меня вот, видишь, транс накрылся.

Андрей рассеянно глянул на Нику, кивнул и снова занялся рисованием. Он то и дело, щуясь, поглядывал на верхний ярус колокольни и чиркал в альбоме быстрыми угловатыми движениями, держа карандаш под прямым углом к бумаге. Осмотревшись, Ника увидела и Ренату – та, отойдя к церковной ограде, где было больше солнца, с озабоченным видом примеряла очки с огромными – в блюдечко – круглыми сиренево-голубыми стеклами.

– Ренка, с ума сойти! – ахнула Ника. – Где достала? Ну-ка, покажи...

Она завладела очками, и мир сразу сделался каким-то подводным. Вернувшись к скамейке, где сидели мальчишки, она отвела волосы от щеки и слегка подбоченилась, выставив колено и едва касаясь земли острым носком туфельки.

– Что скажете? Андрей, окинь взглядом артиста, идут мне такие?

– Сила, – одобрил Игорь. – Еще тот кадр: их нравы, или мисс Большая Ордынка.

– Нет, сними, – сказал Андрей, на этот раз оглядев Нику более внимательно. – Очки тебе ничего, только лучше узкие, а это вообще маразм – жабы глаза какие-то.

– Фэ, – сказала Ника, послушно снимая очки. – Удивительно ты умеешь все опошлить. «Жабы глаза!» Возьми, Ренка, меня не оценили.

Она присела рядом с Андреем и заглянула в альбом.

– Что это ты рисуешь, колокольню? Она тебе кажется красивой?

– А тебе?

Ника до сих пор как-то не задумывалась над вопросом, красива или некрасива круглая трехъярусная колокольня храма Всех Скорбящих; сейчас она пренебрежительно пожала плечами и заявила, что в Москве есть церкви куда лучше.

– Например? – поинтересовался Андрей.

– Да хотя бы та в Зарядье – как ее, «на Кулишках»? Ну, где Дмитрий Донской был...

– Подходящее сравнение – всего пятьсот лет разницы. Таких эрудитов, как ты, можно показывать на вз-дэ-эн-ха. А все-таки, чем тебе эта не угодила?

– Пропорции не те, – подумав, сказала Ника.

– А-а, ну ясно, – Андрей понимающе покивал. – Где уж было бедняге Баженову разобратся в пропорциях.

– Это разве Баженов строил?

– Представь себе. Так где ты пропадала все утро?

– Ой, я потом расскажу... Физик про меня не спрашивал?

– Спрашивал.

– А географичка?

– Не знаю, я сидел отключившись.

– А что?

– Да так, – Андрей захлопнул альбом и сунул его в портфель. – На предыдущем уроке схлопотал двойку от собственной родительницы и почему-то расстроился.

– Брось, старик, – сказал Игорь, – если еще из-за двоек расстраиваться...

– Нет, двойка по литературе – это действительно неприятно, – возразила Ника. – Да еще перед самым концом года!

– Он-то сегодня действительно ни фиги не знал, – вмешалась Рената, – а вот мне на прошлой неделе влепили совершенно зря, я отвечала минимум на тройку. У математички, видите ли, было плохое настроение – может, они утром с мужем ругались. Так знаешь, до чего обидно, я обрелась, как крокодил! – Она снова нацепила голубые очки и стала разглядывать себя в зеркальце. – Ник, завтра мне обещали принести ресницы – те самые, помнишь, длинные такие. Примерим, я тебе тоже постараюсь достать...

– Не надо мне ничего, – Ника вздохнула. – Я сегодня портфель утопила, какие уж теперь ресницы.

Рената сделала большие глаза.

– Офонареть, – прошептала она испуганно. – Как это – утопила? Где?

– Не все ли равно где! На Кадашевской набережной, у Лаврушинского. Что за дурацкие расспросы – где, как? Очень просто как – взяла и бросила в воду, он и утонул.

– Ну, ты даешь, – восхитился Игорь. – Что это на тебя, горемычную, накатило?

– Надоело все! От одной физики уже дурно делается...

– Ты что, действительно выбросила портфель? – спросил Андрей.

– Да, вот представь себе, взяла и выбросила!

– Ничего, старуха, держи хвост пистолетом, скоро каникулы, – утешил Игорь, продолжая терзать свой транзистор.

Саблина и Аронсон – или Пит Арон, как стали его называть после культпохода на «Большой приз», – в один голос взвыли от прорвавшегося хохота.

– Что это они читают? – спросила Ника у Игоря.

– Да эту бодягу, как ее... про кота Бегемота.

– Почему «бодяга»? Мне, например, понравилось.

– Можно подумать, ты там что-то поняла, – сказал Андрей.

– Можно подумать, ты понял.

– И я не все, а уж про тебя-то и говорить нечего.

– Ну, не знаю, что там вообще такого особенного нужно понимать, – примирительно сказала Ника. – По-моему, это просто хорошая историческая повесть. Я говорю про те места, где Пилат и этот, ну...

– Иисус из Назарета, – усмехнулся Андрей, – если мне не изменяет память.

– Ну да, но ведь там его называют иначе? Эта часть мне понравилась больше, а про Бегемота или про этот театр дурацкий – смешно, конечно, но это уже совсем другое, непонятно даже, зачем он все так перемешал. А тебе понравилось?

– Старик, дай-ка нож, – попросил Игорь. – У тебя там отвертка есть?

Андрей, откинувшись на спинку скамьи, вытащил нож из заднего кармана джинсов.

– Не знаю, – ответил он не сразу. – Я в этой вещи не до конца еще разобрался. Родительница моя считает ее гениальной – вероятно, ей виднее...

– Ой, мальчишки, – воскликнула Рената, – что гениально – так это «Щит и меч»! А фильм какой – обалдеть!

Приемник в руках Игоря хрустнул, и из него что-то выпало.

– Вот плешь, – огорченно сказал тот. – Починил, называется... Двадцать рэ кошке под хвост. Ну надо же!

– Кретин ты, – сказал Андрей. – Ты и мои часы так же чинил – не умеешь, а берешься. Чего тебя понесло его разбирать?

– Регулятор тембра барахлил... Эй, Пит!

Пит оглянулся и, оставив журнал Кате Саблиной, встал и подошел к скамье, где сидели остальные.

– А, и дитя-цветок уже здесь, – сказал он, увидев Нику. – Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Где это вас носило?

– Ох, слушай, мне уже надоело рассказывать в четвертый раз одно и то же!

– Она портфель выкинула в Москву-реку, – сообщил Игорь, ползая под скамейкой в поисках выпавшей из приемника детали.

– С Кадашевской набережной, – добавила Рената таким тоном, будто эта подробность объясняла все. – Говорит, надоело учить физику.

– Что значит «надоело учить»? – Пит пожал плечами. – Учение надоест не может, надоест может незнание чего-то. Ты просто не знаешь физику, поэтому тебе и кажется, что она тебе надоела. А если бы ты ее знала, ты бы поняла, что нет ничего более интересного. Так что тут с приемником?

– Да вот, понимаешь, вывалилось что-то, не могу найти...

– Ренка, пока я не забыла – покажи, что на дом, – озабоченно сказала Ника. – С учебниками этими не знаю теперь, что будет, где их доставать... Дай листок, я запишу. Много задали?

Раскрыв протянутый Ренатой дневник, она пробежала глазами последнюю запись и горестно присвистнула:

– Кошмар, тут на четыре часа занятий, не меньше! Интересно, что они себе думают...

– А ни фиги они не думают, – сказал Игорь. – Какой-то академик решил, что дети могут переварить втрое больше информации. Поэтому с будущего года первачей начнут шпиговать алгеброй по новой программе. Представляешь – алгебру семилетним?

– Да какая там алгебра, – возразил Пит, заворачивая в газету останки приемничка. – Их просто будут приучать к тому, что для облегчения счета цифры можно заменять буквами. Так что не пропадут твои первачи, не бойся.

– Нет, мне их ужасно жалко, – сказала Ника, – я как раз сегодня смотрела и думала: у нас хоть было детство, а что будет у этих?... Переписав задание на вырванный из тетради листок, она сложила его, сунула в кармашек передника и вернула дневник Ренате. – Ну что ж, я пойду, наверное...

Она нерешительно глянула на Андрея – тот поднялся и взял со скамьи свой портфель. Последнее время он почти каждый день провожал ее до Октябрьской площади, а оттуда возвращался к себе на Добрынинскую; посмотреть со стороны – вроде бы дружба, но тоже какая-то странная. Отношения их сводились в основном к тому, что они непрестанно спорили и ругались по любому поводу: из-за «Теней забытых предков», которые он нашел гениальными, а она – так себе; из-за второй серии «Войны и мира», когда он встал и вышел на середине сеанса и еще сорок минут ждал ее на страшном морозе только для того, чтобы объявить ее пошлой и безмозглой мецанкой, если ей может нравиться подобное издевательство над искусством...

Ругались они и из-за живописи, хотя в этом она до знакомства с Андреем вообще не разбиралась, а он после школы думал подавать в Строгановку. И все-таки она с ним спорила. Спорила и сама порой удивлялась, что он еще терпит ее и продолжает упрямо водить по воскресеньям то в один музей, то в другой, пытаясь, как он это называл, «сделать из нее человека»; она уже была бы рада не возражать и не спорить, но и соглашаться с ним тоже почему-то не получалось. Ей очень польстило его приглашение в театр, она так ждала этого вечера – и вот пожалуйста, надо же было случиться такой дурацкой истории!

Строго говоря, конечно, еще не все потеряно. Бывало и раньше, что ей что-нибудь запрещали, а потом, если хорошенько понять и разжалобить, запрет отменялся. Но нет, сейчас она ныть не станет, не тот уже возраст. Только вот как объяснить Андрею? Сказать: «Знаешь, меня

мама не пускает» – глупо выглядит. Мама не пускает! Однако что-то ведь говорить придется? Вот уж влипла так влипла...

Некоторое время они шли молча, – Андрей, если не спорил, если не рассуждал о Джотто или Феофане Греке (которого Ника упорно путала с Эль Греко), наедине с ней обычно становился молчаливым. А потом вдруг, словно угадав ее мысли, сказал:

– Знаешь, нам здорово повезло с билетами. На этот спектакль, говорят, такое делается...

– Да, я слышала, – отозвалась Ника не сразу и добавила небрежно: – Вообще-то я еще не знаю, пойду или не пойду.

– Как это – не знаешь? – удивленно спросил Андрей. – Мы ведь договорились!

– Ну и что? – Ника отвела от щеки волосы, пожала плечами. – А теперь мне расхотелось. По-моему, «Современник» уже начинает выдыхаться...

Она не смотрела на Андрея, боялась посмотреть, но хорошо представляла себе, какое у него сейчас лицо. Когда он сердится, у него брови сходятся в одну черту, а на скулах появляются красные пятна.

– Что ты чушь несешь, – сказал он со сдержанной яростью. – Не хочешь со мной идти – скажи прямо и честно, а не выдумывай идиотских объяснений!

Ника замерла на месте и рывком обернулась к нему, – они были уже у стилизованных под старину ворот подворья, где помещались реставрационные мастерские.

– Если так, – зловеще сказала Ника, раздувая ноздри, – то могу и прямо: да, не хочу! Не хочу и не пойду!

– Да пожалуйста! Можно подумать, я тебя упрасивал на коленях.

– Можно подумать, я навязывалась!

– Только не надо терять самоконтроль, – сказал Андрей таким тоном, что его совет можно было с полным основанием отнести и к нему самому. – Нет ничего противнее истеричной закомплексованной девчонки.

– Тем лучше, пойдешь в театр с кем-нибудь попроще, без комплексов. – Ника беззаботно улыбнулась, чувствуя, что вот-вот разревется. – Пригласи, например, Галочку.

– Я найду, кого пригласить, уж это-то действительно не твоя забота.

– Ты прав, к моим заботам не хватало только этой! Странно услышать от тебя верную мысль, последнее время я как-то отвыкла. Ну что, мы идем дальше или будем стоять здесь до вечера?

– Мы дальше не идем, – сказал Андрей, сделав ударение на первом слове. – Я вспомнил, что мне нужно повидать здесь одного человека.

Ника улыбнулась еще радостнее.

– Может быть, ты все же проводишь меня хотя бы из вежливости?

– Извини, я не умею быть вежливым лицемерия ради. Всего хорошего...

Андрей толкнул калитку и вошел внутрь. Ника сквозь прорезь в створке ворот видела, как он идет через двор – высокий, широкоплечий, в польских защитного цвета джинсах и черном мешковатом свитере, – смотрела ему вслед и не знала, заплакать или окончательно разозлиться. Решив, что плакать все же не стоит, она разозлилась. Ну и пусть идет с кем хочет! Пускай теперь вообще ходит с кем хочет и куда хочет.

У особняка мавританского посольства ее догнала запыхавшаяся Рената.

– Вы что, поссорились? – спросила она, изнемогая от любопытства.

– С чего это ты взяла, – высокомерно отозвалась Ника. – А где Игорь?

– Да ну их, они пошли чинить этот транзистор. Нет, правда, из-за чего вы ругались? Я ведь видела, как вы там стояли и ссорились.

– Ничего мы не ссорились, отстань!

– До чего ты скрытная, прямо противно... Ты и с Игорем когда под Новый год поссорилась, тоже мне ничего не сказала!

Ника вдруг фыркнула.

– Чего это ты? – спросила Рената подозрительно.

– Ничего... Вкусно пахнет, правда? – Ника подняла голову и принюхалась. – Угадай чем.

– Это с «Рот-Фронта», на Пятницкой еще слышнее, когда ветер с той стороны.

– Знаю, что не с ВАРЗа! А какими конфетами?

– Карамель какая-то.

– По-моему, тоже. Я только названия не помню. Сказать, почему мы тогда с Игорем поссорились? Я его укусила за нос.

– Офонареть, – прошептала Рената. – За нос – Игоря?

– Ну да. Мы как-то сидели в кино, в последнем ряду, народу совсем не было, и он вдруг говорит: «Можно тебя поцеловать?» Ну, я говорю: «Только закрой глаза». Он, дурак, закрыл, а я его взяла и укусила за нос, за самый кончик. Думала, осторожно, но, может, и не рассчитала – он как взвыл да, как даст мне по шее! Контролерша, естественно, тут же нас вывела. Я так на него обиделась...

– Дурак, действительно, – сочувственно сказала Рената.

– Правда, он потом извинялся. Мне, говорит, просто очень было больно – нос, говорит, у млекопитающих очень чувствительное место...

Они посмотрели друг на дружку и расхохотались как по команде.

– А с Андреем ты целовалась? – спросила Рената, перестав смеяться.

– Разумеется, нет, – строго ответила Ника. – Еще чего!

Глава 3

Дмитрия Павловича Игнатьева мучили автомобильные сны. Они посещали его чуть ли не каждую ночь с постоянством загадочным и необъяснимым, совершенно необъяснимым, если учесть, что он не любил технику и вообще не имел к ней никакого отношения. Собственной машины у него не было, да он никогда и не мечтал о собственной машине, так что сны эти нельзя было объяснить даже по Фрейду – как прорыв бушующих в подсознании страстей.

Однако они продолжали сниться, и вот сейчас он опять ехал на каком-то нелепом транспортном средстве – очень низком и длинном, вроде раскладушки на колесах, – ехал очень быстро, прямо-таки мчался, и сердце у него замирало от страха, потому что мчался он лежа почему-то на спине и мог видеть лишь мелькающие над ним верхушки деревьев, а что делалось впереди – он и понятия не имел; там могло делаться что угодно. И сознавать это было нестерпимо страшно. Он хотел завопить, что хочет и не может остановиться, но голоса не было, он не мог издать ни одного звука и уже весь сжался в предчувствии неминуемого столкновения с чем-то ужасным, сжался так, что заныли все мускулы, – и от этого проснулся.

Мускулы действительно ныли, потому что одеяло сползло на пол, и, вероятно, уже давно, а форточка была открыта с вечера, комнату чертовски выстудило, и он спал, съезжившись от холода. Облегченно вздохнув (пронесло-таки на этот раз!), он нашарил край одеяла, натянул на голову, полежал так с минуту, оттаивая, потом выглянул наружу одним глазом и прислушался. За высоким закругленным сверху окном было серое бесцветное небо. Шума дождя слух не уловил, но проезжающие внизу машины подозрительно шипели покрышками – асфальт на Таврической улице был явно мокрым.

– Та-а-ак, – пробормотал вслух Игнатьев. – Узнаю великолепный Санкт-Питер-бурх!

Он снова спрятался, чтобы не видеть этого великолепия даже одним глазом, но теперь под одеялом стало жарко, и он вынырнул окончательно, повернулся на спину, сунул сплетенные кисти рук под затылок. Да, уж выбрал царь-плотник местечко для своего парадиза...

Как бы ни любить этот город, в больших дозах он переносится с трудом. Впрочем, теперь уже недолго осталось: май на исходе, в середине июня выезжают основные научные силы отряда, а там, следом за практикантами, и он сам. Только таким вот безрадостным, чисто ленинградским утром можно в полную меру оценить близкую перспективу полевого сезона.

А вообще обстановку менять полезно. Осенью, в начале каждого камерального периода, блага городской цивилизации некоторое время радуют – еще бы, асфальт, театры, телефон, – потом их перестаешь замечать, а проходит еще месяц-другой, и от всего этого начинаешь понемногу становиться неврастеником. Телефонные звонки в самую неподходящую минуту, очереди, транспорт в часы пик, отравленный воздух... С начала апреля Игнатьев уже мечтал о поле, как студентка, впервые собирающаяся на практику.

Сейчас он вспомнил, что средства на экспедицию в этом году опять урезали. Режут, лихо-деи, из сезона в сезон, хоть караул кричи. Так ведь не поможет, кричали уже.

– Толцые, и отверзется вам, – пробормотал Игнатьев, зевнув, и с привычным отвращением обозрел потолок. Многолетняя пыль, скопившаяся в завитках карниза, вида особенно не портила, напротив, она даже оттеняла рельеф роскошной лепнины, как-то оживляя его. Но сам потолок требовал побелки. А попробуй доберись – пять метров, шутка ли сказать. Ладно, потолок еще потерпит, а вот полки завалиться могут. Игнатьев повернул голову и оценивающе глянул на верхний ряд, плотно уставленный пожелтевшими комплектами «Археологического вестника». Кажется, прогнулось еще больше. Хорошо, если это произойдет днем, когда он на работе...

Рядом пронзительно заверещал будильник.

– Чтoб ты сдох, – сказал Игнатьев и, не глядя, на ощупь нажал кнопку.

Встав, он взялся за гантели, потом долго прыгал и приседал перед открытым окном. Небо оставалось безрадостным, хотя кое-где начинало уже просвечивать, словно до дыр протертая ластиком серая бумага, а над стеклянной пирамидой крыши Таврического дворца даже угадывалось нечто оптимистично-голубоватое. Как знать, вдруг еще и распогодится!

В коридоре, когда он возвращался из ванной, окончательно взбодрившись от ледяного душа, его перехватила старуха Шмерлинг-младшая.

– Митенька, бонжур, – сказала она простуженным басом. – Вы богаты куревом?

– Сейчас принесу! – крикнул он жизнерадостно.

– Не трудитесь, голубчик, я уже забрала ту пачку, что вы оставили давеча на кухне. Просто ежели это у вас единственная, то мы поделимся.

– У меня есть еще, Матильда Генриховна, я обычно покупаю с запасом.

– Ну благодарствую. А то я в лавку с утра не пойду, а моя Аннет, сумасшедшая старуха, курит еще больше меня. Это в ее-то возрасте. А куда это вы нынче так рано собрались, коли не секрет?

– Помилуйте, какой же секрет, – Игнатъев улыбнулся, подумав, что бедняга становится такой же забывчивой и рассеянной, как и ее старшая восьмидесятилетняя сестра. – В институт собрался, Матильда Генриховна, на Дворцовую набережную.

– А что, разве нынче... как это теперь называют, дай бог памяти, кабалистическое такое выражение... черная суббота?

– Отчего же суббота, – продолжая приятно улыбаться, возразил Игнатъев, – сегодня у нас пятница. И, надеюсь, не черная.

– Опомнитесь, голубчик, какая пятница? Суббота нынче!

– Пятница, Матильда Генриховна, – уже не совсем уверенно сказал он, сам чуя неладное. – Пятница, двадцать третье...

– Ну, Митенька, вы упрямы бываете, как, пардон, настоящий осел, – в сердцах заявила Шмерлинг-младшая – Точь-в-точь моя Аннет! Нынче у нас суббота, суббота, двадцать четвертое мая!

– Гм, а ведь вы правы, – сконфуженно признал Игнатъев, вспомнив вдруг вчерашнее заседание ученого совета. – Действительно, пятница была вчера. Как же это я...

– То-то же, – сказала Шмерлинг. – Вы уж со мною не спорьте, я еще не выжила из ума, чтобы числа путать. Вам, Митенька, непременно следует жениться.

– Вот еще, – сказал он. – Только этого мне и не хватало.

– Да, да, непременно! Вам скоро тридцать, а холостой мужчина после тридцати начинает деградировать: либо он становится педантом и аккуратистом, а точнее – занудой, как говорят ваши сверстники, либо постепенно превращается в пыльное и рассеянное чучело. Вы пойдете по второму пути; это, конечно, лучше первого, я понимаю, но все же и тут не стоит заходить слишком далеко. Вас, кстати, недавно видели с какой-то весьма эффектной барышней.

– Меня? – удивленно переспросил Игнатъев.

– Вас, голубчик, вас. Третьего дня, возле «Норда».

– А, – сказал он. – Да, это... одна наша лаборантка.

– Понимаю, – высокомерно пробасила Шмерлинг-младшая. – Ну, видите, у вас еще и лаборантки такие обольстительные. Женитесь, голубчик, все равно этого никому не избежать. А за «Беломор» благодарствую. Кофием напоить вас?

– Что? Нет, нет, спасибо, я... позже!

Вернувшись к себе, Игнатъев постоял у дверей, задумчиво оглядывая свое жилище, словно впервые его увидел. У самого входа, в похожем на альков закоулке, помещался платяной шкаф, столик из польского кухонного гарнитура, белый, с ярко-оранжевой пластиковой крышкой, и белый же висячий шкафчик для посуды. Это было, так сказать, подсобное помещение, дальше шло уже непосредственно жилище, – выгороженное в давние времена из большого

зала, оно, благодаря непомерно высоким потолкам, казалось меньше своих истинных размеров, а вообще-то это была отличная, просторная по нынешним масштабам, тридцатиметровая комната; в ней был даже камин – роскошный, резной, из белого когда-то мрамора. Он, правда, давно бездействовал, и в нем явно не хватало каких-то деталей, но каждую осень, возвращаясь из экспедиции, Игнатьев собирался найти специалиста, отремонтировать камин и зимними вечерами предаваться сибаритству. Хорошо бы собаку купить.

Камин украшал левую длинную стену комнаты, а вся правая была на высоту поднятой руки занята книжными стеллажами из некрашенных досок. Прямо напротив двери находилось окно, слева от него, поближе к камину, – столик с радиоприемником, новомодное кресло на растопыренных ножках и диван-кровать, которым Игнатьев сам обычно не пользовался, предпочитая более привычную раскладушку. Справа от окна, впритык к стеллажам, стоял огромный старый письменный стол, заваленный книгами и папками, с приколотыми над ним фотографиями раскопов и вскрытых захоронений.

– Воображаю, пустить сюда жену, – пробормотал Игнатьев. – Перевернет все вверх дном, пойдут всякие уборки, натирание паркета. Книжки еще начнет переставлять... по цвету корешков! Нет уж, гран мерси, окончательно я еще с ума не сошел.

Он раскрыл шкаф и задумчиво погляделся в зеркало на внутренней стороне дверцы. У англичан, говорят, есть прекрасный обычай – не бриться по воскресеньям. Хорошо бы его перенять и внедрить, распространив заодно и на субботу... целый уик-энд без бритвы, какое блаженство. Но тут, увы, прямые аналогии неуместны; начать с того, что англичанин по воскресеньям торчит дома и читает «Таймс», а ему сейчас нужно идти куда-то завтракать...

Поняв, что настоящего англомана из него не выйдет, Игнатьев все-таки побрился и даже, покряхтивая, растер лицо одеколоном. Когда он кончал одеваться, в недрах квартиры раздался телефонный звонок, в дверь стукнули и Кашеев своим склочным голосом объявил, что звонят ему.

– Спасибо! – крикнул Игнатьев, спешно заканчивая свой туалет. – Бегу, Степан Архипыч...

Оказалось, что звонит сотрудник по институту, некто Лапшин.

– Да, Женя, – отозвался Игнатьев. – Да, я слушаю...

– Извините, Дмитрий Палыч, – церемонно сказал Лапшин. – Надеюсь, я вам не помешал? Скажите, вы сейчас никуда не уходите?

– Собираюсь идти завтракать. А что?

– Нет, мне просто хотелось с вами поговорить... посоветоваться тут по одному вопросу...

– Ну, давайте. После одиннадцати буду дома, примерно до пяти. Приходите в любое время.

Лапшин принялся витиевато объяснять, что не хочет, собственно, его беспокоить и отрываться от дел, вопрос у него не столь уж важный и спешный, – в институте, правда, ему не хотелось бы говорить на эту тему, хотя вчера он совсем уж было собрался, но из-за ученого совета...

– Пустяки, Женя, у меня нет никаких неотложных дел, приходите, и поговорим, – прервал Игнатьев.

– А завтракаете вы где?

– Сегодня, по случаю субботы, в пельменной возле Дома искусств.

– На Невском? – удивленно спросил Лапшин.

– Я понимаю, с Таврической это получается за семь верст киселя хлебать, но у них блинчики хорошие. А что, вы хотели бы встретиться там?

– Если не возражаете. Это и вам удобнее, чтобы не терять времени.

– Ну, как хотите, – сказал Игнатьев, посмеиваясь. – Подваливайте тогда в пельменную. Часиков в десять? Ну, договорились...

К тому времени, когда он вышел из дому, совсем распогодилось, хотя было довольно холодно. Над едва начавшими зеленеть липами Таврического сада бежали клочья разодранных облаков, и солнце то выглядывало, празднично сверкая в лужах на асфальте, то снова пряталось, и тогда все опять становилось тусклым, серым, озябшим. Затяжная питерская весна никак не хотела уступить место лету. И облака-то бежали, к сожалению, с Балтики – рассчитывать на устойчивую хорошую погоду не приходилось.

Свернув на Кирочную, Игнатьев шел вдоль садовой решетки, задумчиво насвистывая сквозь зубы. В принципе Шмерлинг права: жениться бы неплохо. Но по заказу не женишься, это ведь не квартиру обменять – решил, дал объявление, выбрал подходящий вариант. Все не так просто. Конечно, если предварительно влюбиться... Но Игнатьеву трудно было представить себя влюбленным. В самом деле, дамским угодником он никогда не был, в обществе женщин становился замкнут и молчалив, легкий компанейский треп ему не удавался, а когда его начинали расспрашивать о работе, – «ах, раскопки, это так интересно!» – смущался, мрачнел и начинал бормотать нечто маловразумительное. Его жизнь проходила в совершенно ином плане, ином измерении, куда не было доступа женщинам; женщины оставались где-то в стороне. Но, конечно, вполне абстрагироваться от них он тоже не мог, не удавалось...

На углу Потемкинской Игнатьева застал дождь. К счастью, троллейбус как раз подходил к остановке, он помчался следом, прыгая через лужи, как кенгуру, влетел в уже закрывающиеся двери и, очень довольный собственной ловкостью, покатил на Невский завтрак.

Лапшин ждал его в пельменной и даже успел занять столик.

– Под европейца, Женя, работаете, – сказал Игнатьев, разгружая свой поднос. – Назначаете деловое свидание в кафе, словно биржевая акула. Не проще ли было бы у меня?

Лапшин, застенчивый юноша, ужасно смутился.

– Понимаете, я вчера звоню вечером Нейгаузу, узнать ваш телефон, а он говорит: «Вы только домой к нему не ходите, он этого не любит...»

– Больной человек, – Игнатьев пожал плечами. – Откуда, скажите на милость... А впрочем, однажды я действительно принял его не очень любезно... Понимаете, нужно было срочно заканчивать отчет, а он тут является с какой-то своей очередной ахинеей...

– Ну вот видите. – Лапшин смущенно засмеялся. – Поскольку у меня вопрос тоже не из важных...

– Да бросьте, тогда я действительно был в цейтноте. Не знал, что он это так воспринял... нужно будет извиниться хотя бы задним числом.

Игнатьев сокрушенно покачал головой, намазывая вареньем блинчик.

– Но вообще-то я тоже становлюсь немного психопатом, – сказал он доверительно. – Сегодня, например, собрался утром в институт – решил, что пятница. Скажите, вам сны снятся?

Лапшин подумал.

– Недавно снилось, что «Пахтакор» выиграл у «Зенита», – сказал он застенчиво. – Так, знаете ли, приятно было проснуться...

– Правда? А меня все какие-то автомобили идиотские преследуют.

– Это вы мечтаете выиграть «Волгу».

– На кой черт мне «Волга»? У нас Витя Мамай – автолюбитель... правда, платонический. Я бы деньгами взял, – подумав, добавил Игнатьев. – Мне большой ремонт предстоит – потолок к черту потрескался. Так что у вас за вопрос ко мне?

– А я, Дмитрий Палыч, хотел посоветоваться. Вы понимаете, мне Криничников предлагает ехать в Запорожскую область, копать вместе с киевлянами...

– Куда именно?

– Я не знаю точно. Охранные раскопки: там сооружают какую-то гидросистему и некоторые курганы попали в зону затопления.

– Понимаю. И что же вас смущает?

– Да вот не знаю теперь, что делать. С одной стороны, это кажется интересным... Мне не приходилось еще работать с курганами. Но, может быть, нет смысла кидаться от темы к теме? Здесь уже как-то освоился, вошел в курс...

– Вы с Бирман работаете?

– Да, с Бирман и с Сокальским. Конечно, на их работе мой уход несколько не отразится, поэтому я и счел себя вправе подумать над предложением Криничникова, – но вот как лучше мне самому?

Игнатьев помолчал, методично уничтожая свои блинчики.

– Я вам хочу задать контрольный вопрос, – сказал он, доев последний – Вы с работами Арциховского в Новгороде знакомы?

– Да, в общих чертах.

– А с работами Картера в Египте?

– Естественно, – Лапшин недоуменно пожал плечами.

– Как по-вашему, кто больше обогатил историческую науку?

– Ну, как сказать... Конечно, гробница Тутанхамона – это была сенсация, но...

– Но?

– Нет, я хочу сказать, что ее чисто научное значение, пожалуй, не так уж и велико. Собственно, к нашим знаниям о Древнем Египте она мало что прибавила... мне так думается.

– Правильно, Женя, вам думается. Совершенно правильно. Сенсации чаще всего науку не обогащают. Науку обогащает другое: кропотливое собирание фактов. По крохам, по черепкам. Я почему вспомнил Арциховского? Он золотых саркофагов не находил, но его работы помогли нам более детально и во многом по-новому увидеть всю картину общественных отношений в средневековом Новгороде. Возьмите, скажем, традиционное представление о «всенародном вече» новгородцев. Кто только об этом не писал, начиная с Карамзина! А Арциховский сделал простую вещь: определил место, где собирались вечники, измерил площадь и подсчитал, сколько людей могло там поместиться. И оказалось, ко всеобщему удивлению, совсем немного; значит, это самое вече вовсе не было общегородской сходкой, где каждый мог кричать что вздумается, а был это, скорее всего, обычный выборный орган, своего рода совет представителей. Понимаете? Вот пример, как должен работать археолог. А кладоискательство – ну что ж, это, конечно, занятие увлекательное...

Он отодвинул пустую тарелку и принялся за кофе.

– В общем, вы считаете, – нерешительно сказал Лапшин, – что мне к этим киевлянам ехать не стоит?

– Я бы не поехал. Чего ради? Оставайтесь лучше с Бирман, она прекрасный научный руководитель, и Кушанское царство – тема интереснейшая, перспективная. Там такой сплав культур! А этих скифов мы уже знаем вдоль и поперек, ну, раскопают еще один Чертомлык – что это даст? В лучшем случае лишнюю коллекцию для музейных фондов...

– Выходит, вы вообще против курганных раскопок?

– Ну, нет, почему же! В кургане всегда может найтись что-нибудь интересное, даже в разграбленном. Они, кстати, почти все и разграблены – в большей или меньшей степени. Но «интересное» – это одно, а вот «ценное для науки» – совсем другое. Это, в общем-то, для археологии пройденный этап, курганы. Она с них начинала, это естественно, но сейчас.

– Я понимаю... Но ведь бывают находки и интересные сами по себе, и ценные для науки?

– Например?

– Ну, Шлиман, Кольдевей...

– Шлиман! – Игнатьев пожал плечами. – Шлимана вы не верите, это чудо, которое вряд ли повторится. Здесь все слишком на грани фантастики, а Кольдевей или там Вулли – ну что ж, они были первопроходцами, в некотором смысле им всегда проще. В археологии, мне кажется,

миновало время научных сенсаций. Я подчеркиваю, именно научных. Правда вот, кумранские свитки. Но их, заметьте, нашла коза, а не археолог. Случайности, конечно, никогда не исключены...

Игнатъев допил кофе, помолчал.

– Женья, у вас семья есть? – спросил он неожиданно.

– В смысле – собственная? Нет, своей нет. Я с родителями пока живу, – сказал Лапшин. –

А что?

– Да нет, это я так. Просто думал сегодня об этой проблеме. Соседка решила меня женить.

– На себе?

– Нет, ей за шестьдесят. Вообще женить. Вот я и задумался. Что, по-вашему, нужно для счастливого брака?

– А черт его знает, – подумав, сказал Лапшин. – Наверное, везение. Повезет – встретишь хорошую девушку, а не повезет.

– То и не встретишь, – закончил Игнатъев. – Это ценная мысль, Женья. А какую именно вы рассчитываете встретить, если не секрет?

Лапшин опять добросовестно подумал.

– Собственно, у меня нет четкого идеала, – сознался он. – Просто это должна быть... ну, девушка, без которой ты не можешь обойтись. Вот когда это почувствуешь, тогда и нужно жениться. Мне так кажется, во всяком случае.

– Зыбкий критерий, – усмехнулся Игнатъев. – Девушка, без которой не можешь обойтись. Что, собственно, значит, «не можешь»? Человек не может обойтись без воды, пищи и воздуха, без всего прочего он обойтись может... с большей или меньшей степенью комфорта. Женья, вы знаете, для кого были написаны стихи о Прекрасной Даме? Я имею в виду Блока.

– Я догадался, – кивнул Лапшин, не обидевшись. – Блок ведь, кажется, был символистом? Ну, он, очевидно, воспевал свой мистический идеал... символ, так сказать.

– Нет, Женья, вот тут вы ошибаетесь. Блок воспевал никакой не мистический идеал, а совершенно реальную девушку, дочку профессора Менделеева.

– Того самого?! – Лапшин изумился. – С таблицей? Подумайте, этой детали я не знал. И что же?

– А то, что они благополучно сочетались браком, но ничего хорошего из этого не вышло. Как видите, не всегда можно быть счастливым, женившись даже на Прекрасной Даме. А вы говорите!

– Так что, собственно, вы предлагаете взамен? – застенчиво спросил Лапшин.

– Я ничего не предлагаю, потому что сам еще не занимался этим вопросом. Просто, вероятно... к браку нужно подходить как-то иначе. Да и вообще, нужен ли он, а?

– А? – эхом откликнулся Лапшин – Я тоже не знаю. Но что же делать, если полюбишь? В конце концов, литература дает примеры и счастливых браков...

– Что ж литература, – Игнатъев пожал плечами и встал. – Литература, Женья, это одно, а жизнь – совсем другое. И она не всегда совпадает с литературными канонами. Вы много видите вокруг себя тургеневских девушек? Выйдем вместе, если вы кончили...

Они вышли и не спеша направились к Аничкову мосту.

– Тургеневские девушки... – сказал Лапшин. – Их, конечно, сейчас нет, но я не знаю, такая ли уж это потеря. Есть другие. Просто всему свое время... Каждой эпохе, наверное, соответствует определенный стиль человеческих отношений, разве не правда?

– Боюсь, что да, – согласился Игнатъев. – Пожалуй, это можно сформулировать точнее: именно стилем человеческих отношений и определяется лицо эпохи...

За мостом они расстались. Было уже без десяти одиннадцать, и Лапшин сказал, что подождет здесь, пока откроется Лавка писателей, – скоро должны были выйти мемуары Жукова, и он хотел заранее подъехать к знакомой продавщице. Игнатъев, не испытывавший сегодня ника-

кого желания рыться в книгах, пожелал ему успеха и отправился дальше. А день-то, похоже, будет все-таки ясным! Солнце прорывалось сквозь редеющие облака все чаще и настойчивее, стало совсем тепло, асфальт просыхал. Дойдя до Екатерининского скверика, Игнатьев отыскал сухую скамейку у боковой ограды, напротив входа в Публичку, закурил, вытянул переплетенные ноги.

– Что делать, если полюбишь? – пробормотал он вслух, передразнивая Лапшина, и почувствовал себя опытным, умудренным жизнью циником.

А ты, дурак, не влюбляйся. Любовь, подумаешь! Бред собачий. Впрочем, когда-то это не было бредом... Неважно, существовали ли на самом деле Леандр или Тристан; сам за себя говорит тот факт, что до нас дошли их имена. Срок жизни пустой выдумки не может исчисляться веками. Мы-то еще помним, как влюбленный юноша плыл через Геллеспонт, как умирающий рыцарь вглядывался в море с утесов Пенмарка, отыскивая в волнах запоздалый парус Изольды; но уже наши внуки ничего этого знать не будут. Потому что легенды умирают, когда их смысл перестает волновать современников.

– Туда им и дорога, – решительно объявил Игнатьев и швырнул в урну недокуренную папиросу. И вообще хватит об этом. У него есть работа – это главное. Киммерийского материала хватит еще не на одну кампанию, а там, надо полагать, обрастет плотью доказательств и хрупкий скелетик одной довольно любопытной мыслишки... впрочем, с этим спешить нечего. За докторскую есть смысл браться, когда полновесная гипотеза упадет тебе на стол как созревшее яблоко. Это будет еще не скоро – каждая наука имеет свои темпы. Всякие там физматики, говорят, становятся докторами через три-четыре года после распределения, – это понятно: у тех все на вспышке, на внезапной догадке, а кропотливые расчеты за них делает, надо полагать, машина. То-то и оно. А наш брат гробокопатель?

Да, главное – работа. Даже если это останется единственным, тоже не беда... ну, идеальным такой вариант не назовешь, но нельзя же иметь все!

Был как-то случай, два года назад, когда Игнатьеву показалось – можно. В Доме ученых его познакомили с аспиранткой кафедры этнографии, она весь вечер говорила о его работе, потом как-то удивительно мило и непринужденно выразила готовность поехать к нему – посмотреть библиотеку. До книг дело не дошло, и дней десять он провел как во сне – непостижимо было, что такая женщина могла обратить на него внимание. А потом она вдруг исчезла – не появлялась, не звонила, поймать ее по телефону никак не удавалось. Через месяц Игнатьев встретил ее на Менделеевской линии в компании каких-то иностранцев, она глянула на него равнодушно – не узнала...

Хорошо еще, тут как раз подошло время уезжать в поле, его назначили начальником нового феодосийского отряда, и первые же разведочные раскопки на месте дали такой богатый материал, что у него сразу вылетели из головы все питерские мороки и наваждения. Осенью он вернулся совершенно исцеленным, хотя и с новым, весьма настороженным отношением к женщинам: от всех от них, решил он, нужно держаться по возможности подальше...

Витя Мамай, его помощник в отряде и ярый женоненавистник (что, впрочем, не мешало ему ладить даже с собственной тещей), определял его теперь как женоненавистника умеренного – не то чтобы гинофоб, дескать, а скорее так, мизогин. Пожалуй, это было верным определением.

– Во всяком случае, поумнеть я поумнел, – вслух пробормотал Игнатьев. Проводив взглядом девицу в ошеломительной мини-юбке, он закурил новую папиросу и снисходительно добавил: – А уж вот этими штучками фиг вы меня теперь поймаете...

Глава 4

В конце мая водолаз ремонтной бригады треста «Мосспецстроймонтаж», проводивший профилактический осмотр опор Новоспасского моста, обнаружил под водой портфель, зацепившийся ручкой за крюк кабельного кронштейна. Поднявшись на палубу базового катерка, Саша Грибов отдал находку товарищам; пока его раздевали, портфель пошел по рукам, был окачен из шланга, протерт чистыми концами – оказался желтоватенький, из тисненного под кожу поливинила, явно не отечественного производства.

– Слышь, Сань, – сказал моторист, подойдя к моющемуся под шлангом Грибову, – портфельчик-то не наш, оказывается! Может, ты большое дело обнаружил. Что, если его какой шпион с моста кинул?

– Вы погодите раскрывать, – сказал Грибов. – Мало ли... может, в милицию сдадим, а, Петрович?

Бригадир задумчиво повертел портфель в руках.

– Сдать-то можно... а можно и самим вскрыть, чтобы насмешек потом не было. Испугались, скажут, в милицию побегли. Мы ж тут всей бригадой, в случае чего и акт можно составить...

– А может, в нем взрывчатка? – спросил моторист.

Петрович, бывший в войну сапером, с сомнением покачал головой.

– Маловато, ежели на мост рассчитывалось. Что ж тут – кило два, не больше... Да нет, это из пацанов кто-то уронил, из школьников. Портфельчики эти ту осень в «Детском мире» были, я видел, как своему покупал. Я-то, правда, подешевле взял, эти целковых двадцать стоили, как сейчас помню. Я так думаю, пусть он полежит пока, подсохнет, а мы, как пообедаем, откроем. Замочек-то тут заклинило, пружинки, видать, прижавели... ну ничего, его сжатым воздухом продуть, а после масла запустим несколько капель, он и заработает. Продуй его, Федя, выгони снутри воду, пускай сохнет...

Из портфеля вытрясли воду, продули сжатым воздухом замочек и положили на горячую от солнца крышу рубки. Потом Петрович поглядел на часы и сказал, что пора обедать.

Все сидели на палубе, разложив на газетках батоны и плавленые сырки, расставив бутылки кефира. Поев, закурили, покидали в воду скомканные бумажки, бутылки в авоське спустили за борт – прополаскиваться. Подремали немного, поговорили о положении в Чехословакии, о программе «Аполлон», о том, почему так получилось, что американцы, похоже, прилетят на Луну первыми.

– А по мне, хрен с ними, с этой Луной и с этой Венерой, – сказал Петрович. – На Земле дел неуворот, а туда же... космос лезут осваивать!

– Чем на Луну летать, лучше б они у себя негритянскую проблему решили, – сказал моторист.

– Я ж про это самое и говорю, – кивнул Петрович и поплевал, на зажатый в пальцах окурок. – Так что, Саня, погляди на твою находку?

Грибов встал, прошлепал по палубе босыми ногами и достал с крыши подсохший снаружи портфель. Моторист принес масленку с веретенным маслом, замочек смазали, и он открылся от легкого нажатия пальцев. Все сдвинулись в круг, вытягивая шеи.

– Ну, точно, – сказал Петрович, вытащив из портфеля раскисшую пачку учебников и школьных тетрадок. – Пацан какой-нибудь и потерял, оголец. Хороши бы мы были в милиции. Бери, Саня, разбирай добычу... Ты погляди там, может, адрес найдешь – портфельчик вернуть бы надо, новый-то перед концом года покупать не станут. Он что ж, ему от воды ничего не сделалось – синтетика... а замочек потемнел, так это не беда, ты его, Федя, протри порошочком, а после нитролаком покроем, он и будет как новенький.

– В одном только ты, Петрович, ошибся, – сказал Грибов, осторожно отслаивая от пачки верхнюю тетрадку. – Не пацан это потерял, а пацанка, и учиться эта растеряха уже аж в девятом классе. Ну, братцы, все.

Кругом засмеялись.

– Вот тебе и запасная невеста, Сань, – крикнул моторист. – А чего, самый раз познакомиться! С получки подстригешься, станешь на человека похож, сорочка нейлоновая финская у тебя есть. Ты, Сань, не теряйся. Придешь так вежливо, культурненько, скажешь: «Я извиняюсь, вы ничего не теряли в последний отрезок времени?»

– Жанка ему за запасную такой бенз устроит, что ты!

– А ты, Сань, ей не говори. Держи это дело в секрете, понял?

Грибов, отшучиваясь, разложил по крышке рундука мокрые книжки и тетрадки, потом перевернул портфель, тряхнул – на палубу шлепнулся коричневый раскисший комок, в котором что-то ярко блеснуло. Под струей воды из шланга комок расползся – оказалось сгнившее яблоко, кошелечек и губная помада в плоском золоченом футляре.

– Ишь ты, шмакодявка, – ухмыльнулся Грибов, – это в девятом классе, надо же. Небось тайком мажется... – Он отколупнул крышечку, потрогал помаду толстым пальцем и выбросил за борт.

– Не очень-то они теперь и таятся, – сказал слесарь. – Живут у нас в подъезде две соплячки, так это, знаешь, просто страшное дело, чего они вытворяют.

– А ты думал! – подхватил моторист. – Я в армии служил в Кировской области, к нам такие бегали с поселка – лет по шестнадцать, вот чес-слово, не брешу!

– Ладно трепаться-то, – строго сказал Петрович. – Вас послушать, так и молодежи хорошей не осталось... Одну похабелъ кругом себя видите...

– Так их, шеф, – подмигнул такелажник Юрка, самый молодой член бригады. – Не теми глазами смотрят, паразиты, ничего светлого не замечают.

– Во, еще и самописка тут, – сказал Грибов, пошарив в портфеле и вытащив из внутреннего кармана хромированную шариковую ручку. – На четыре цвета, мощная штука. Федь, ты это продуй тоже, может, еще и сгодится. А в кошельке-то бренчит, слышите? Ну, братцы, будет чем захмелиться сегодня!

Но в кошельке оказалось немногим больше полтинника, и Грибов, притворно сокрушаясь, ссыпал монетки обратно, бросил следом найденный там же маленький плоский ключ от английского замка и положил кошелек возле просыхающих книг.

– Ладно, сдадим это дело по принадлежности. Надо будет через адресный стол узнать, где проживает.

– Фамилия-то там есть? – спросил Петрович.

– Есть, она шариковой писала, не размыло. Ратманова Ве-ро-ника. Ничего фамилия, прямо как в театре.

– Может, из артистов?

– Ратманов – это музыкант был такой, – сказал моторист.

– Музыкант – Рахманинов, – поправил Грибов, – читал я про него.

– Ратманов? – спросил слесарь. – Я на Урале знал одного парня, тоже звали Ратмановым... Может, путаю? Да нет, точно, Ратманов Славка. Хороший парень, только жизнь у него не сладилась... между прочим, это если вот так рассказать – не поверишь...

– Ну ладно, ребята, кончай перекур, – вмешался Петрович. – Пошабашим, тогда травите хоть до ночи, а сейчас надо вкалывать, работа сама не делается...

На другой день найденный портфельчик окончательно привели в порядок, надраили и покрыли лаком замочек, сложили внутрь просушенные, хотя и безнадежно покоробленные книги, и даже ручку четырехцветную починили, только синий стерженек не хотел выдвигаться,

но, может, его заедало и раньше. Вечером Саша Грибов завернул все хозяйство в бумагу и унес с собой в общежитие.

Прошла неделя, покуда он выбрал наконец время забежать в киоск «Мосгорсправки» и выяснить адрес этой самой растеряхи по имени Вероника. Грибов был человек занятой, учился в вечерней школе и еще готовился к важному делу – женитьбе; они с Жанной уже подали заявление на пятнадцатое июня. А узнать адрес – это нужно потерять полчаса, не меньше. Так он и откладывал это дело со дня на день.

Наконец бланк адресного стола – Ратманова Вероника Ивановна, г.р. 1953, Ленинский проспект, дом такой-то, корпус такой-то, квартира такая-то – оказался у него в руках, но и тогда дело это не намного продвинулось вперед, потому что жил Грибов у Марьиной Рощи, и съездить оттуда на другой конец Москвы было при его теперешней занятости не так-то просто.

А потом, честно говоря, ему уже стало не до того. Пятнадцатого, воскресным утром, такси цвета «белая ночь» с золотыми, словно выломанными из олимпийской эмблемы кольцами доставило Сашу Грибова во Дворец бракосочетания на улице Щепкина, и кончилась, братцы, его холостая водолазная жизнь. Народу во дворец привалило – страшное дело: кроме бригады в полном составе были еще ребята из общежития, и парни и девчата из вечерней школы, и ребята из других бригад, где он работал раньше, и двое оказавшихся проездом в Москве корешей, с которыми он служил на Краснознаменном Северном флоте, и девчата из общежития Жанны, и ее однокурсники по вечернему техникуму, и просто так. Понятно, напастись такси на такую ораву нечего было и думать, поэтому молодые тоже решили из солидарности идти пешком, и по окончании церемонии вся толпа валом повалила к месту основной гулянки – благо это было тут же рядом, в Безбожном переулке. И гуляли они аж до самой ночи.

Три дня свадебного отпуска молодые провели в одном из подмосковных кемпингов, а потом ему пришлось вернуться в свое общежитие, а ей в свое, и у нее была на носу сессия, а у него шли экзамены в вечерней школе – словом, конец июня так и пролетел. А потом они взяли уже настоящий отпуск и уехали к ее родным в Могилевскую область.

В день отъезда над Москвой собиралась и так и не разразилась гроза, было душно, мрачным желтоватым светом нестерпимо жгло солнце сквозь облачную пелену. Белорусский вокзал был забит уезжающими на лето москвичами, посадку на поезд почему-то долго не объявляли, потом объявили, и началась давка. Грибов с двумя увесистыми чемоданами в руках обливается потом в надетой по случаю намечавшегося дождя болонье и поминутно оглядывался, боялся потерять жену. Но жена не потерялась, все обошлось благополучно, и они добрались до вагона под нужным номером. Тут уж было посвободнее и поспокойнее.

Протиснувшись в купе, Грибов забросил наверх чемоданы, стащил плащ и сел на диванчик, подмигнув Жанне.

– Ну, Жанчик, все, – сказал он довольным тоном. – Значит, едем! Теперь мы месяц можем про квартиру не думать, ты не расстраивайся. А вернемся – комнату снимем, ясно? Что ж, я на комнату не заработаю, что ли? Эх, пивка бы сейчас холодненького!

– Пиво есть, только за температуру не ручаюсь, – сказала Жанна, развязывая авоську со взятыми в дорогу продуктами.

– Ну, ты у меня молоток, – восхитился Грибов. Он задвинул дверь и торопливо поцеловал жену. – Слышь, как бы это устроить, чтобы к нам никого не посадили, а?

– Ну как ты это устроишь, Сашок. – Жанна вздохнула. – Столько народу едет... У тебя есть чем открыть?

– Есть, есть, сейчас мы это дело...

Он стал рыться по карманам в поисках перочинного ножа, вытащил вместе с ним скомканную бумажку и, развернув, досадливо крикнул и стукнул себя по лбу.

– Ты чего? – спросила жена.

– Да к девчонке этой я не съездил! Портфель-то так в общаге и валяется, шут его совсем заberi...

– Ничего, подождет, – сказала Жанна рассудительно. – Другой раз пусть не теряет.

Глава 5

Андрей Болховитинов договорился встретиться с отцом в пять часов, но тот запаздывал – было уже двадцать минут шестого. Андрей сидел на перилах ограждения, держа руки в карманах джинсов и зацепившись носками туфель за нижнюю перекладину, и не отрываясь смотрел на бесконечный людской поток, извергающийся из похожего на гигантский раструб входа в станцию метро.

Ему всегда было интересно наблюдать за толпой. Если вдуматься, это ничуть не менее интересно, чем следить за бегущими облаками, или смотреть ночью на звезды, или, подойдя вплотную к холсту и затаив дыхание, вглядываться в застывшие извивы красок, положенных рукою Ван-Гога. И, наверное, здесь, в Москве, толпа интереснее, чем где бы то ни было. Потому что нигде, пожалуй, нет такой невообразимой мешанины.

Вот идет отставник: китель старого образца украшен радужной колодкой наград и застегнут до самого горла, панاما из синтетической соломки строго надвинута на брови, в руке пачка газет – ездил куда-нибудь проводить политинформацию, старый конь. Отставника обгоняют две строительницы в заляпанных краской комбинезонах, подрисованные к вискам глаза у обеих оттенены синим, ресницы облеплены черной тушью, на головах высокие коконообразные прически, по самые брови повязанные, чтобы не растрепать до времени, воздушными капроновыми косыночками; не иначе собрались потвистовать сегодня после работы. Идет с набитыми авоськами приезжий узбек в пиджаке с прямыми плечами, широчайшие брюки заправлены в сапоги, на коричневой от загара голове сидит маленькая четырехугольная шапочка, черная с белым вышитым узором. Какая изумительно вылепленная голова! Нужно будет ее сегодня же нарисовать, а впрочем, такая не забудется. Может быть, Айвазовский прав, что нельзя писать с натуры? Иногда мешают ненужные мелочи, сбивают с толку, искажают цельное, а память – она безошибочно отфильтрует и сохранит самое главное, самое характерное внутреннюю суть образа... Узбек давно уже пропал в человеческом водовороте, но его лицо стоит перед глазами – непроницаемое, бесстрастное лицо Азии: редкие, точно из конского волоса, усы над тонкогубым ртом, коричневая сухая кожа туго натянута на скулах, косо рассеченные глаза прищурены, словно их навеки ослепило яростное степное солнце...

Да, тут только успевай смотреть. Ника сказала однажды, что жаль, люди в массе так некрасивы, вот уж дурацкий, поистине бабский взгляд. «Красивы», «некрасивы»! Люди прежде всего великолепны своей выразительностью – в большинстве случаев. Нужно только уметь видеть. И даже самое «невыразительное» лицо попадает иной раз такое, что так и просится в альбом: тупость, уродство – все что угодно может быть прекрасным, если правильно смотреть. Ведь вот как хорош этот толстяк – выражение лица начальственно-брюзгливое, настолько брюзгливое, что совершенно непонятно, почему он пользуется метро, а не сидит развалившись на переднем сиденье черной «Волги», снисходительно болтая с водителем о футболе или рыбалке; и негр в пиджаке с металлическим отливом, весь тонкий и какой-то немного развинченный, тоже хорош; и подмосковная бабка в платочке и плюшевом жакете, хлопотливо волокущая огромную коробку с кинескопом; и интуристка с круглым вертявым задом, лихо обтянутым синими когда-то, а теперь вытертыми и вылинявшими до блеклой голубизны джинсами; и двое парней, узколицый и широколицый, оба стрижены коротко, под каторжников, оба в очках, с портфелями и тубусами (сразу видно – не лирики), – все они, калейдоскопически мелькающие перед его жадными глазами, прекрасны в своей неповторимой выразительности, и весь мир вообще прекрасен, если воспринимать его как надо, то есть зрительно, как безграничное по богатству сочетание форм, красок и линий... Однако родителю пора бы уже быть здесь.

Сегодня у них мужское дело – покупка новых часов. Старые Андреевы часы, после того как над ними хорошо потрудились Игорь Лукин, уже не поддавались никакой регулировке; поэтому, когда встал вопрос о подарке к знаменательному дню перехода в десятый класс, он сделал заявку на часы; собственно, придумать что-то другое, оставаясь трезвым реалистом, было трудно. Конечно, неплохо бы иметь дома стереофонический проигрыватель, но это пока не по карману. Вот если летом удастся подзаработать в стройотряде... Андрей рассеянно огляделся, увидел отца и соскочил с парапета.

– Здравствуй, сын, – сказал Болховитинов-старший и коротко потрепал младшего по плечу. – Извини, задержался немного, вернее, меня задержали. Давно ждешь?

– Двадцать пять минут. Ничего, я не скучал, здесь интересное место в смысле наблюдений, – баском ответил Андрей. – Что же, пойдем прямо по магазинам, или ты хочешь закусить? Тут вот, рядом, есть сосисочная.

– Да я, признаться, не думал, – сказал Кирилл Андреевич – Мама, вероятно, будет ждать с ужином. А ты проголодался?

Андрей вовсе не проголодался, и о сосисочной на углу он сказал лишь потому, что в ней были установлены пивные автоматы. Разумеется, он давно уже мог бы побывать там с кем-нибудь из приятелей, но такого рода эскапада отдавала бы мальчишеством: ничуть не лучше, чем тайком курить в школьной уборной. Вот зайти в пивную с отцом, как мужчина с женщиной, это было бы здорово, и на это он главным образом и рассчитывал. А вовсе не на сосиски как таковые. Но раз отец не догадывается, придется отложить до более благоприятного момента.

– Нет, – ответил он честно, – я вовсе не проголодался. Просто я думал, что ты...

– Я, признаться, побаиваюсь всех этих сосисок – и так приезжаю из каждой командировки с больным желудком, лучше уж воздержимся. Ты куда хотел пойти, в универмаг какой-нибудь?

– Я думаю, заглянем на Сретенку, там хороший фирменный магазин. Тут недалеко. Кстати, ты сколько ассигнуешь мне на подарок?

– Сколько? – Кирилл Андреевич пожал плечами. – Я не знаю. Ты говорил, кажется, что хорошие часы стоят рублей сорок?

– Да, около этого. А что, если мы сделаем иначе – купим за тридцать, а десятку ты мне презентуешь наличными? Дело в том, что мне нужны деньги – лишние, понимаешь, сверх обычных карманных. Мы решили отпраздновать в складчину, и не дома у кого-нибудь, а пойти в «Прагу». Ну, не в ресторан, разумеется, а там, внизу. Нас будет человек шесть – значит, платить придется троим... в общем, не хотелось бы подсчитывать в уме каждую копейку!

– Да, это неприятно, – согласился Кирилл Андреевич. – Особенно если ты с девушкой! Ну что ж, ради такой оказии могу снабдить тебя лишней десяткой, а на часах уж экономить не станем.

– Я просто думал, что выходит многовато...

– Ничего, за этот квартал ожидается неплохая премия.

– Спасибо, папа. Между прочим, я хотел у тебя спросить... Ты понимаешь, у меня, кажется, будет возможность записаться в стройотряд...

– Куда записаться?

– Ну, ты знаешь, эти студенческие строительные отряды.

– А какое отношение имеешь к ним ты?

– Школе дали три путевки, по комсомольской линии. Это институт, который над нами шефствует. Я хотел спросить в принципе, не станешь ли ты возражать. Конечно, это еще надо обговорить с мамой, но я хотел выяснить твоё отношение.

Кирилл Андреевич ответил не сразу. У спуска в подземный переход он купил «Вечернюю Москву» и на ходу невнимательно просмотрел заголовки. Они прошли низким широким туннелем, наполненным слитным гулом текущих навстречу друг другу человеческих потоков и разноголосыми зазывными воплями продавцов цветов и лотерейных билетов, и снова под-

нялись наверх к монументальному portalу «Детского мира», где, как всегда, живописными группами сидели обремененные дневной добычей гости столицы. На углу улицы Дзержинского Кирилл Андреевич остановился и задумчиво оглядел площадь.

– Почему, собственно, ты решил ехать с этим отрядом? – спросил он.

– Ну, как тебе сказать, – Андрей пожал плечами. – Прежде всего, там можно что-то заработать, это тоже не лишнее...

– Ну, ехать только ради этого... – скептически хмыкнул отец.

– Ты считаешь, в моем возрасте рано учиться зарабатывать деньги?

– Не то чтобы рано, но... Видишь ли, обычно это получается само собой, и едва ли этому следует «учиться». Просто когда человек начинает работать, он начинает получать вознаграждение за свой труд... так что учиться нужно не зарабатывать, учиться нужно работать – это дело другое. А ты переводишь в несколько иную плоскость. Зря, мне кажется.

– Слушай, тут примерно две остановки – сядем на троллейбус или пешком?

– Я с удовольствием пройду, только не беги. Мы ведь не опаздываем?

– Нет, там до семи. Ты понимаешь, я просто хотел сказать, что иногда бывает приятно почувствовать себя материально независимым... ну, в какой-то степени. Купить себе что-то на деньги, которые сам заработал... Но это не главное, конечно. В основном я решил поехать потому, что чувствую, как мне не хватает знания жизни.

Кирилл Андреевич усмехнулся:

– Не такая уж беда в твоём возрасте.

– Ну, это как сказать, – возразил Андрей. – Через полгода мне восемнадцать лет. А что я видел, кроме Москвы и Энска? Так хоть на целине побываю – все-таки новые впечатления...

– Впечатления – дело другое, – согласился Кирилл Андреевич. – Что ж, я не против. Не знаю, правда, как к этому отнесется мама.

– Ну, родительницу мы как-нибудь уломаем общими усилиями.

– Андрей, я просил тебя не употреблять этого дурацкого выражения, и не один раз. Почему ты не можешь просто сказать «мама»?

– Могу, конечно. Я так и обращаюсь – «мама».

– Да, но за спиной называешь родительницей. Что за чушь!

– Вероятно, привык в школе, – сказал Андрей извиняющимся тоном. – Ты понимаешь... у нас в младших классах – ну, в седьмом, в восьмом – как-то не принято было говорить о родителях «папа», «мама»... считалось таким сюсюканьем, что ли. Ну, словно мы уже из этого выросли. Вообще не принято было упоминать о существовании родителей. А поскольку мне упоминать о маме приходилось в связи с каждым уроком литературы...

– То ты и нашел отличный выход из положения. Странная вещь: о «материальной независимости» ты заботаешься, заботаешься совершенно преждевременно, потому что в этом смысле у тебя никаких проблем пока нет. А вот о том, чтобы стать человеком независимым духовно, человеком со своим собственным отношением к жизни, – об этом ты не думаешь.

– Интересно, как бы это я собирался стать художником, – возразил Андрей, – если бы у меня не было своего собственного отношения? Или скажем так – если бы я не понимал, что должен его иметь?

– Мы говорим о разных вещах. Ты хочешь сказать, что художник должен видеть окружающее по-своему, не так, как видят его другие? Я имею в виду не это. Просто, понимаешь ли, человек – неважно, кто он по профессии, – человек может быть внутренне независим, но может и подчиняться среде во всем – во вкусах, в мнениях, ну и так далее. Не скажу, что это такой уж криминал... в конце концов, так живут многие, даже люди вполне порядочные, – но это печально. Очень печально, сын. А начинается всегда с малого...

В фирменном магазине «Часы» их ждало разочарование: выбор мужских наручных часов оказался скудным, водонепроницаемых и противоударных не было вовсе, а продавщица, моло-

денькая и хорошенькая, пребывала в состоянии мрачайшей меланхолии и едва цедила слова. Кирилл Андреевич поинтересовался, бывают ли вообще в продаже все эти прославленные рекламой шедевры отечественной часовой промышленности – сверхточные, сверхплоские, с автоматическим под заводом и так далее.

– Бывают, но редко, – ледяным тоном объявила продавщица, глядя мимо него с отвращением.

– Ясно, – сказал Андрей, – их гонят на экспорт. Знаешь, давай не будем строить из себя снобов и купим хотя бы вот эти. В конце концов, от часов требуется одно: показывать время...

Татьяна Викторовна испытывала неловкость, листая альбом. Сын часто показывал ей свои рисунки, но другие, а этот полукарманного формата небольшой альбомчик был у него, вероятно, чем-то вроде записной книжки. Или даже дневника. Поэтому, строго говоря, ей не следовало сюда заглядывать, но она заглянула, увидела отличный, несколькими штрихами набросанный портрет уборщицы тети Вари и уже не могла остановиться.

Все-таки приятно лишний раз убедиться, что у тебя способный сын. Огромный, нелепый и несомненно способный. Может быть, даже талантливый. Она бережно переворачивала страницы, захватанные не очень чистыми пальцами, безжалостно исчищенные то карандашом, то фломастером, с какими-то непонятными, словно зашифрованными, короткими записями среди рисунков.

Рисунки были самые разнообразные. Фрагменты уличных сценок, кошка, подкрадывающаяся к голубю, дог на поводке – его часто можно видеть возле школы. Люди – идущие, сидящие, толкающие перед собой коляски, читающие на ходу. Инвалид на костылях, какой-то франт возле низкого, приплюснутого к земле автомобиля, еще машины, какие-то приборы и аппараты. Архитектурные мотивы – главным образом Замоскворечья – старая, времен Островского, купеческая усадьба, изящный особняк «Моспроекта» на Пятницкой, церковь святого Григория Кесарийского на Большой Полянке, колокольня церкви Всех Скорбящих, решетка Педагогической библиотеки. И, конечно, девушки – много девушек.

На этих рисунках взгляд Татьяны Викторовны задерживался дольше. Некоторых она узнала – Ратманову, например, не узнать было нельзя, ее головка повторялась на страницах альбома десятки раз. Повернутая то так, то этак, со своей характерной (пожалуй, слишком изысканной для девятиклассницы) прической – челка и рассыпанные по плечам прямые волосы. Не только, впрочем, головка. Веронике Андрей тоже рисовал и стоящей, и идущей, и как угодно.

Не слишком ли часто, подумала Татьяна Викторовна и закрыла альбом. Ратманова, которую она впервые отметила среди своих учениц еще в седьмом классе, ей нравилась – неглупая, достаточно для своего возраста начитанная, с зачатками хорошего литературного вкуса. Иногда слишком замкнутая, словно отгородившаяся от всего мира, а иногда способная на нелепую выходку, какую-нибудь совершенно детскую шалость. Татьяна Викторовна с интересом читала сочинения Ратмановой, любила поручать ей устные разборы той или иной книги, – словом, как ученица Вероника вполне ее устраивала. А вот как возможная подруга Андрея – куда меньше.

Татьяне Викторовне трудно было разобраться в своих чувствах к этой девочке сейчас, когда она лишний раз убедилась, что сын явно ею заинтересован. Обычная материнская ревность? Или что-то другое, более серьезное, более обоснованное логически?

Скорее всего, не столько даже ревность, сколько страх, предположение возможной опасности. Андрей ведь тоже замкнут, порой наглухо, попробуй добраться до его истинных чувств и переживаний. А если в нем действительно есть задатки художника? Тогда он уже сейчас может чувствовать куда глубже, трагичнее, чем другие его сверстники...

Часы пробили восемь – мужчин все не было. Татьяна Викторовна вышла в кухню, достала сигарету из запрятанной в дальнем углу буфета пачки и закурила у раскрытого окна, глядя на вечернее зарево над крышами и думая об этом взрослом уже и отчасти даже незнако-

мом юноше, в которого как-то постепенно и незаметно превратился ее Андрейка, Андрюшка, Андрюшонок.

Последнее время она все чаще признавалась себе, что не только не знает в чем-то своего сына, но и не понимает его во многом, просто не способна понять. И ей все чаще думалось, что дело тут не в индивидуальном взаимопонимании (или в данном случае его отсутствии), а просто в том факте, что Андрей принадлежит к новому послевоенному поколению. К поколению, которое для нее – после пятнадцати лет работы в школе – все еще остается загадкой. Не просто, очень не просто обстоят дела со сверстниками Андрея. Временами она ловила себя на парадоксальной мысли, что им, выросшим в мире и относительном довольстве, не испытывавшим и тысячной доли того, что довелось испытать отцам, – этому «благополучному» поколению шестидесятых годов приходится в чем-то куда труднее, чем приходилось поколению тридцатых.

С лестничной площадки донеслись голоса. Татьяна Викторовна швырнула в окно недокурную сигарету и замахала руками, пытаясь выгнать туда же предательский дым, потом прислушалась: ложная тревога, голоса отправились выше по лестнице. Но вообще-то и ее повелители должны вот-вот нагрянуть. Она смахнула с подоконника кучку упавшего пепла, достала аэрозольный баллончик и распылила по кухне немного озонла, пошла в ванную и тщательно вычистила зубы. Вот так – пусть теперь кто-нибудь докажет, что она курила.

– Знаешь, я сегодня смотрела твой альбом, – сказала Татьяна Викторовна, когда они с сыном занялись после ужина мытьем посуды. – Просто не утерпела – уж очень он соблазнительно лежал, на самом виду.

– Пожалуйста, – пробасил Андрей, как ей показалось, чуть смущенно. – Только там нечего смотреть – ерунда всякая, наброски...

– Это-то и интересно! По-моему, ты делаешь успехи.

Андрей помолчал, осторожно и неуклюже, по-мужски, протирая чашку посудным полотенцем.

– Не знаю, – сказал он. – Иногда мне и самому так кажется, а иногда такое зло берет... Пытаешься что-то сделать – не получается, хоть руки отруби. Не знаю...

– Тебе еще нужно учиться, чтобы все получалось. Ты уж сразу хочешь слишком многого!

– Не знаю, – упрямо повторил Андрей. – Еще вопрос, можно ли этому научиться... Ученые, наверное, дают что-то другое – технику, теоретические знания... А при чем тут техника? Ты видела, как рисуют дети? Ведь самое главное – способность увидеть и передать не сам предмет, он не так важен, а свое видение этого предмета, – этому вряд ли можно научиться. Наверное, все-таки или оно у тебя есть, – от рождения, заложенное в генах, понимаешь? – или его нет. И никогда не будет, сколько бы ни учился...

– Ну, ясно, прежде всего должны быть способности. Но ведь их можно оставить нераскрытыми, а можно развивать, оттачивать. Любой талант, надо думать, нуждается в обработке. Нет, мне твои эскизы понравились. У тебя, кстати, совсем неплохо получаются портретные зарисовки... Вероника Ратманова кое-где очень удачно схвачена. Нравится она тебе?

– Вероника? Да, у нее лицо такое... – Андрей замялся, подыскивая слово. – Гармоничное, что ли.

– Нет, а как человек – нравится? Я не о внешности.

– А-а, – сказал Андрей. – Так она еще не человек.

– Ты думаешь? Не знаю, девушки взрослеют рано.

– Я хочу сказать – неизвестно еще, что из нее получится, – пояснил Андрей, подумав. – Может стать и вторым изданием своей мамы.

– Ты знаешь ее родителей?

– Видел один раз зимой, когда провожал...

Татьяна Викторовна молча взялась за очередную тарелку. Слова сына удивили ее – мать Вероники, с которой она не раз беседовала на родительских собраниях, производила скорее хорошее впечатление. Хотя бы уже тем, что не восхищалась способностями дочери и была больше озабочена ее недостатками.

– По-твоему, одного взгляда достаточно, чтобы судить о человеке? – спросила она, передавая вымытую тарелку сыну. – Или хотя бы одного разговора?

– Смотря с кем, – отозвался тот не сразу. – Некоторых, конечно, сразу не разгадаешь. А есть такие, что стоит глянуть, и уже все ясно.

– И что же тебе стало ясно при взгляде на Ратмановых?

– Они мне не понравились. Точнее, мать. Отца я видел мельком.

– Но чем именно она тебе не понравилась?

Андрей опять помолчал.

– Как тебе сказать... Какая-то она... слишком благополучная, что ли.

– Благополучная? – переспросила Татьяна Викторовна. – Чем же это плохо? Всякий человек стремится к благополучию... вопрос лишь в том, что под этим понимать. Чистая совесть, например, это ведь тоже благополучие – душевное.

– Да нет, я не о таком. Ну, понимаешь, есть особый вид интеллигентного мещанства, что ли...

– Вот уж чего-чего, а мещанства я в Ратмановых не замечала – ни в дочери, ни в матери.

– В дочери нет, – согласился Андрей. – Я поэтому и говорю, может, она еще и станет человеком. А мать... ты, наверное, встречалась с ней только в школе? В общем-то, конечно, я ничего плохого о ней самой сказать не могу. Но у них дома все настолько... как бы это определить... Ну, все как полагается в их кругу. Понимаешь? По-моему, более точного признака мещанства просто не придумать. – Андрей вдруг усмехнулся, что-то вспомнив. – У них в гостиной несколько неплохих гравюр, девятнадцатый век, а в прихожей – ну, прихожая большая, вроде такого холла, – так вот, у них там висят две африканские маски, кажется подлинные, отец откуда-то привез, а между ними, посерединке, суздальская икона. Старая такая, почти черная покوروبленная доска. А ты говоришь – не замечала! Конечно, это не то мещанство, которое проявляется в безвкусовой одежде. Если мещанин умеет безошибочно найти цветовое решение интерьера – это куда страшнее... У Ратмановых, кстати, гостиная решена очень здорово: ковер на полу темно-синий, а стены – матовой серой краской, светлой, теплого такого тона. Так что, видишь...

– погоди-ка, Андрей, – сказала Татьяна Викторовна. – Ты сам, будь у нас такая возможность, отказался бы жить в комнате, хорошо отделанной и обставленной по своему вкусу?

– Нет, конечно.

– Почему же тебя возмущает, если так живут другие?

– Ты, мама, вообще, значит, ничего не поняла! – Андрей в сердцах швырнул на стол скомканное полотенце. – Я что, против хорошо обставленных квартир? Я против того, чтобы жизнь сводилась к одной только погоне за модой, пусть самой изысканной...

– Помилуй, да откуда ты знаешь, к чему сводится жизнь тех же Ратмановых? И есть ли у них другие интересы, кроме ковров и гравюр девятнадцатого века?

– Ну, у отца-то наверняка есть, служебные, деловые, – согласился Андрей. – Я про мать говорю. Не знаю, конечно, есть ли у нее другие интересы, да это и неважно. Она слишком довольна своей жизнью, понимаешь? Во мне такие люди вызывают недоверие.

Не так уж это ново, подумала Татьяна Викторовна, подавив вздох. Да, в нем уже начинают проявляться все черты настоящего художника... даже включая этот инстинктивный протест против всякого благополучия, против всех тех, кто «всегда доволен сам собой, своим обедом и женой»...

– Да, – сказала она вслух. – Бог с ними, впрочем. Я только одно хотела бы тебе сказать, Андрейка... по поводу младшей Ратмановой. Мне понятно твоё стремление уберечь её от мещанства. Но только учти вот что. Она почти твоя ровесница, а девушки, как я уже сказала, становятся взрослыми раньше вас. Поэтому не переоценивай своих сил. Если она действительно выросла в интеллигентно-мещанской среде, – я подчеркиваю – если! – потому что у меня такого представления не сложилось, – то ты, боюсь, ничего уже тут не сделаешь. Поэтому хорошо подумай, стоит ли...

– Стоит ли – что? – спросил Андрей, не дождавшись конца фразы.

– Ну, скажем, брать на себя задачу её морального перевоспитания.

– Я не собираюсь её перевоспитывать! Просто, если есть возможность внушить какие-то более правильные взгляды...

– Ты хочешь сказать, что не имеешь права уклоняться? Что ж, в этом ты прав, конечно... Нет, ты не думай, что у меня какие-то возражения вообще против твоей дружбы с Вероникой. Она интересная девочка, не то что эта ваша Рената, с которой я действительно не представляю, о чем можно говорить. Мне просто хотелось тебя предостеречь... вернее, не предостеречь, это не то слово. Ну, скажем проще – посоветовать!

– Я понял...

– Вот и хорошо.

– А чтобы ты на этот счет больше не беспокоилась, – добавил после паузы Андрей, – то могу тебе сказать, что я не из тех, кто может легко потерять голову.

Если бы так, с сомнением подумала Татьяна Викторовна, улынувшись сыну. Если бы так! Пускай-ка он и в самом деле поедет с этими студентами – все-таки смена обстановки, новые впечатления...

Глава 6

Переход в десятый класс не столько обрадовал, сколько обескуражил Нику. Последнее время она упорно твердила всем, что останется на второй год, сама в это поверила и на успевающих одноклассников уже посматривала с жалостью и чувством тайного превосходства. Еще бы! Им через год предстоят все муки, уготованные абитуриентам, она же будет еще беззаботно порхать по жизни, не думая ни об экзаменах, ни о конкурсах.

Лишний год – это великая вещь, думала она, неизвестно еще, что за этот год произойдет. А произойти в наше эпохальное время может все что угодно – например, отменят высшее образование для девушек. Или, например, сделают его всеобщим – тоже выход...

И все эти сладкие мечты вдруг рассыпались в прах, развеялись по ветру. Получив табель, Ника даже не стала звонить родителям – еще начнут поздравлять, чего доброго. Придя домой, она достала из холодильника початую банку сгущенного молока и поставила катушку с записями Клиберна, – сидела на тахте с поджатыми ногами, ела молоко ложкой и слушала музыку, от которой хотелось плакать и в более счастливые времена.

Когда банка опустела, а пленка кончилась, Ника подумала, что вот так кончается в жизни вообще все – и молодость, и любовь. Теперь ей очень хотелось пить, все-таки сгущенки оказалось многовато; она с наслаждением выпила стакан ледяной воды из сифона, добралась обратно до тахты и легла, чувствуя себя объевшейся и несчастной.

А вечером, конечно, было торжество и ликование. Оказалось, что родители все уже давно знали от завуча, только ей не говорили; и с работы явились с подарками: отец принес отличную кожаную папку, взамен того злополучного портфельчика, а мама – рижский кулон ручной работы, кусок неровно отшлифованного янтаря с мушкой внутри, оправленный в темное оксидированное серебро.

Сегодня янтарь произвел на всех большое впечатление, и Ренка немедленно предложила обменять его на свои знаменитые голубые очки. Кулон ходил по рукам, его трогали, терли, царапали вилкой, смотрели на свет и даже брали на зуб.

– Вот паразитство, – задумчиво сказал Игорь, разглядывая мушку. – Лежит, тварь, три миллиона лет, и как живая... А ведь от нас, братья и сестры, через три миллиона лет даже радиоактивного пепла не останется.

– Это произойдет гораздо раньше, – утешил Пит. – У урана не такой уж большой период полураспада.

– Может, придумаете что-нибудь повеселее? – спросила Катя Саблина. – Ника, забери у них свой янтарь, он на них плохо действует.

– А на меня тоже, – сказала Ника и отпила глоток терпкого прохладного цинандали. – Мне вот тоже лезут в голову всякие грустные мысли, когда я смотрю на эту муху.

– Ты-то сама не муха, – резонно заметила Рената.

– Ах, никто не знает, кто он такой, – вздохнула Ника. – В смысле – никто не знает сам себя...

– Что это вы сегодня расфилософствовались? – усмехнувшись, сказал Андрей. Он сидел, отодвинувшись от стола, и, положив ногу на ногу, рассеянно оглядывал публику в зале.

– Знаете, мне очень печально, что я перешла в десятый класс, – заявила Ника.

Игорь и Пит переглянулись и, уставившись на нее, как по команде сделали одинаково скорбные лица и одновременно постучали себя по лбу.

– Готова, – сказал Игорь.

– Доучилось наше дитя-цветок, – сказал Пит. – Вот тебе и «науки юношей питают, отраду старцам подают». Правда, там про дев ничего не говорилось.

– А девам науки никогда еще не шли на пользу, – сказал Андрей.

– Вы смеетесь, – вздохнула Ника, – а смешного нет ничего. Это все не так просто, как вам кажется. Хорошо кончать школу, когда знаешь, что дальше...

– Как – что дальше? – изумился Игорь. – Дальше известно что: гранит науки, светлые дали и сияющие вершины. Какого рожна тебе еще надо?

– Я сама не знаю, какого мне нужно рожна, – сказала Ника. – В том-то и дело. Хорошо грызть гранит науки, когда ты знаешь, ради чего стачиваешь зубы...

– Ничего, – утешил Игорь. – Сточишь – поставят новые. Из нержавеющей!

– Это хорошо Андрею, – продолжала Ника, не обращая на него внимания. – Потому что он художник, а они все одержимые. Или тебе, Катрин, – вы с Питом тоже знаете, чего будете добиваться. Всякие там вычислительные устройства, программирование... Если это интересно – конечно, почему же не учиться. Но вот я не знаю. И Рената не знает. И ты, шут гороховый, тоже не знаешь.

– Это кто шут? Я бы попросил!

– Тоже мне... млекопитающее, – фыркнула Ника. – У тебя ведь тоже нет никаких серьезных интересов!

– Я бы попросил, – повторил Игорь. – Что значит – нет интересов? Я буду подавать во ВГИК. Ясно?

Все застонали хором:

– Во ВГИК!

– Спятил!

– Да тебя там затопчут на дальних подступах!

– Почем знать, – сказал Игорь. – Может, я сам кого-нибудь – под копыто? А?

– Я, например, буду подавать в медицинский, – сказала Рената. – А не пройду – устроюсь манекенщицей.

– Это хоть обдуманная программа, – усмехнулся Андрей, – заранее иметь запасной вариант, на случай «если не пройду». Впрочем, – добавил он, продолжая рисовать, – это нужно только вам, девочки. Для нас запасным вариантом будет армия.

– Точно! – воскликнул Игорь. – Возьму я автомат, надену каску! В защитную покрашенную краску!

– Нас выведут, – предупредила Катя.

– Ударим шаг по улицам горбатым, – немного понизив голос, продолжал Игорь, бренча на воображаемой гитаре, – как славно быть солдатом, солдатом... Ну что, братья и сестры, дрогнем?

Он разлил по бокалам остатки вина и посмотрел бутылку на свет.

– Увы, пусто. Как, мужики, скинемся еще на одну?

Пит и Андрей согласились, что скинуться необходимо – бутылка на шестерых это вообще не дело. После этого все дружно выпили, молча и не чокаясь; кто-то от кого-то слышал, что чокаться теперь не принято, Андрей ободрал апельсин и подал Нике.

– Спасибо, – сказала она. – Половинку. Нет, нет, бери, мне столько не съесть.

– Кстати, – сказал Андрей. – Я читал где-то, что у Евы на самом деле это был апельсин, а не яблоко.

– Ну, тем лучше, – улыбнулась Ника. – Считаю, что я тебя соблазнила.

– Кто, кто кого соблазнил? – не расслышав, заинтересовалась Рената.

– Я соблазнила Андрея, – непринужденно пояснила Ника.

Какой-то пожилой человек, вставший из-за соседнего столика, глянул на нее изумленными глазами, проходя мимо.

– Вы уже совершенно неприлично себя ведете, – сказала Катя. – Дождетесь, что нас действительно выведут.

– А мы ничего не делаем, – возразил Игорь. – С каких это пор компания взрослой молодежи не может посидеть днем в кафе за бутылкой вина?

– Вообще-то нужно было прийти сюда вечером, – с сожалением сказала Рена. – Куда интереснее.

– Вечером нас могли и не пустить...

– Ох, не знаю, а я так ужасно рада, что остался всего этот последний год, – сказала Рена. – Это ж действительно офонареть можно – того нельзя, этого нельзя... Ну ничего, – добавила она угрожающе, – мне летом обещали сшить брючный костюм. Тогда увидим.

– А может, он тебе не пойдет, – сказала Ника.

– Да? – прищурившись, с невыразимо язвительным видом спросила Рената. – Мне не пойдет? Ты так думаешь?

– Я просто предполагаю, – Ника пожала плечами.

– Странные у тебя предположения! Очки, например, почему-то не пошли именно тебе, а мне они, как видишь, прекраснейшим образом идут.

– Ренка, и тебе не идут, – вмешался Игорь. – Ты в них на сову похо... ой! – Он отшатнулся на полсекунды позже, чем следовало, и Ренкин кулак задел его по уху. – Обалдела ты, что ли, на людей кидаться!

– Я тебе покажу «сову», – пообещала Рената.

– А что такого я сказал? Брючный костюм, например, тебе пойдет, этого я не отрицаю. Как видишь, я справедлив. Между прочим, братья и сестры, я тоже шью себе новые брючата. Клеш с разрезами и...

– Цепочками, – подсказала Ника.

– Старуха, – Игорь сожалеюще покачал головой, – нельзя так отставать от моды. Цепочки носили в каменном веке.

– Тогда с бубенчиками!

– Тоже плешь.

– Почему плешь? – спросил Пит. – Женька Карцев пришил себе колокольчики, которые привязывают к удочкам. Можно купить в «Спорттоварах», полтинник штука. Получилось очень стильно.

– Плешь, – решительно повторил Игорь. – Я сделаю иначе. Только не растреплете? У меня будут лампочки.

Ренка ахнула, за столом стало тихо. Игорь обвел всех взглядом победителя.

– Что, дошло? Обычные лампочки от карманного фонарика. Нашиваются внизу вдоль разреза, а питание от четырех плоских батареек. По две в каждом кармане. Сила? Техника на грани фантастики! Да, кстати! С меня библиотека требует Стругацких, а я их кому-то отдал и не помню кому. Старик, они случайно не у тебя?

– Нет, не у меня, – отозвался Андрей.

Он искоса глянул на Нику и сказал:

– Между прочим, мы, наверное, видимся в последний раз. В смысле – до осени. Недели через две я еду на целину со стройотрядом.

– Вот как, – небрежно сказала Ника и обернулась к Саблиной. – Катрин, покажи-ка сумочку, я хотела посмотреть...

– Тебя берут в стройотряд? – заинтересовался Игорь. – А практика?

– Половину отработаю здесь, а остальное мне зачтут. Не отдыхать же еду.

– А куда это?

– Кажется, в Кустанайскую область куда-то, точно еще неизвестно.

– Эх, черт, – вздохнул Игорь, – я бы тоже не отказался. А то представляешь удовольствие – целый месяц вкалывать здесь на авторемонтном!

– Повкалываете, пижоны, ничего с вами не делается, – злорадно сказала Рената.

– Вас бы самих туда, – огрызнулся Игорь. – Небось сразу бы забыли о маникюрах!

– А мы что, не будем работать? Не знаю еще, что лучше – ваш завод или наше овощехранилище. Целыми днями перебирать картошку!

– Насчет овощехранилища, кстати, еще ничего толком не известно, – сказала Ника. – Геннадий Ильич говорил, что девочек, возможно, пошлют в совхоз. Где-то тут в Подмосковье. Хорошо бы, правда?

– ...А вся эта фантастика – вот уж бодяга так бодяга, – говорил Пит, очищая апельсин. – У американцев, правда, иногда здорово завинчен сюжет... и мысли бывают интересные – в смысле социального прогнозирования, – только мрачные все, просто читать страшно...

– Стра-а-ашно, аж жуть! – вполголоса пропел Игорь, втянув голову в плечи.

– Именно жуть. У Витьки Звягинцева есть несколько журнальчиков – его предок был в Штатах, привез оттуда, – специально журнал научной фантастики, называется «Аналог»... маленького такого формата, карманный, с иллюстрациями... ты, кстати, Андрюха, возьми поинтересуйся, графика там потрясная. Так вот, я прочитал несколько рассказиков...

– Ух ты, пиж-жон несчастный, – сказала Рена. – Так это небрежно – «прочитал несколько рассказиков»...

– Ну а чего? Со словарем запросто, не такой уж трудный текст. Так вот я что хотел сказать – мрачняка там совершенно невыносимая, все насчет перенаселения, истощения природных ресурсов, словом в таком плане...

– Наверное, это не так уж и фантастично, – заметил Андрей.

Пит дочистил апельсин, разделил его на дольки и принялся симметрично раскладывать их по столу.

– Да, но у них сгущены краски, – сказал он. – Между прочим, нашу фантастику читать тоже невозможно. Я, например, не могу. У тех одна крайность, у нас другая...

– Литература должна быть бодрой, – сказала Рената, – оптимистической и – какой еще?

– Жизнеутверждающей, – подсказал Игорь. – Ну, дрогнули!

Пит выпил, сжевал дольку апельсина. Андрей, полуотвернувшись, смотрел в окно, за которым непрерывно, словно по обезумевшему конвейеру, летел с Нового Арбата разноцветный поток машин и дальше мерцала на солнце листва тополей Суворовского бульвара, а над всем это стояло синее безоблачное небо; цветовое состояние начало уже подвергаться неуловимым вначале послеполуденным изменениям. Чем, какими средствами можно передать вот такое? Скопировать нельзя – даже цветная фотография с максимально приближенной колористической гаммой все равно ничего не передаст. Значит, дело не в верности воспроизведения частных составляющих, а в том, чтобы найти, вылущить и показать что-то главное, общее, всеобъемлющее...

– ...Я начинал два раза, да так и бросил, – говорил Пит. – Уж такое всеобщее сю-сю, что просто с души воротит. Такие все талантливые, и красивые, и сверхблагородные – сплошное умиление. И друг к другу, разумеется, все необычайно заботливы, чутки, – да ну их к черту, эти сказочки для детей преклонного возраста. Тоже, литература...

– Послушай, Пит, ну, может быть, когда-нибудь так действительно будет, – нерешительно сказала Ника. – Ведь там отражено очень-очень далекое будущее...

– Никакое будущее там не отражено, – возразил Пит. – По-моему, там отражен только несокрушимый исторический оптимизм автора... причем оптимизм, который целиком высосан из пальца. Я ни одному его слову не верю, когда он рассказывает об этих своих сверхраспрекрасных героях... Еще могу поверить в биполярную математику, со всякими там кохлеарными и репагулярными исчислениями, – ладно, допустим, когда-нибудь разработают и биполярную... А герои, люди все эти, – просто маниловщина самая безответственная.

– Ну, хорошо, – Ника отвела от щеки волосы. – Люди вообще меняются к лучшему?

– Ты, бабка, меняешься только к худшему, – вмешался Игорь. – В смысле – глупеешь не по дням, а по часам.

– Нет, ты скажи, разве вообще люди не становятся лучше, постепенно, пусть хотя бы медленно?

– Не знаю, – сказал Пит. – Представь себе, не знаю! Вероятно, меняются. Но как медленно! Разве что произойдет какой-то внезапный скачок, какой-то перелом, сразу... тогда можно допустить, что они действительно станут когда-нибудь хоть в чем-то похожими на тех. Но рассчитывать на случай – это же ненаучно, детка. Прогноз должен опираться на что-то реальное. Если хочешь, американцы – по методу – более правы: они исходят из того, что, уже имеется. Такие явления, как перенаселенность, загрязнение воды и воздуха, – это уже имеется, это уже налицо; вот из этого они и исходят. Кое в чем перехлестывают, это уже дело другое.

– Петька совершенно прав, – сказал Андрей. – Вот вам простой вопрос: за последние пятьдесят лет люди стали лучше или не стали?

– Да ты что, Андрей, – испуганно сказала Катя. – Мы уже в космос летаем, а ты такие вещи дикие спрашиваешь!

– А космос тут совершенно ни при чем, американцы тоже летают. Я говорю, в смысле человеческих качеств – стали мы лучше?

– Ну, ты даешь, старик, – неопределенно высказался Игорь.

– Во всяком случае, – сказал Пит, – до тех, кто делал революцию и кто дрался на гражданской войне, нам далеко. Это я могу сказать совершенно точно...

– На основании собственного опыта, – ехидно закончила Рена.

– Тут собственный опыт не так уж и необходим, – возразил Андрей. – Это безусловный факт, что комсомольцы двадцатых годов были лучше нас. Среди них не было ни тунеядцев, ни этих папенькиных сынков, которые...

– Мешают нам жить, – быстро подсказал Игорь. – И они же позорят наш город. Дурную траву из поля вон. Дрогнем?

На этот раз его никто не поддержал, он выпил сам и закусил конфетой. Пожилая официантка принесла мороженое. Расставляя по столу запотевшие мельхиоровые вазочки, она подозрительно оглядела примолкшую компанию.

– Что, молодежь, по домам не пора?

– Ой, тетенька, а можно, мы еще посидим? – пропищал Игорь. – Мы хорошие, вот честно, тетенька!

– Сидите, кто вас гонит, только без озорства. Чего празднуете – аттестаты, что ль, получили?

– Нет, только перешли в десятый, – улыбнулась Ника.

– Во-он что! Я-то думала, выпускники. Ну, празднуйте на здоровье...

– Не будем даже говорить о двадцатых годах, – негромко сказал Андрей, когда официантка отошла. – Возьмем тридцатые или сороковые... Ну, время молодости наших предков...

– А что предки? – перебил Игорь. – Воевали, да? Старик, нам это все известно с первого класса – Чайкина, Матросов, Космодемьянская, – так что можешь не продолжать. Знаешь, мне эти разговоры о «том поколении» сидят уже в самых печенках. Двойку принесу домой, ну или там еще какое-нибудь чепе в том же духе...

– Не знала, что двойка для тебя чепе, – сказала Ника.

– Вот именно, – подхватила Рената. – Помните, он раз пятерку оторвал – это было чепе...

– А ну, тихо! – Игорь несильно постучал по столу кулаком. – Я что хочу сказать? Предки теперь, чуть что не так, начинают предаваться воспоминаниям. Вот вы, дескать, ничего не знаете, ничего не испытали, а мы были не такими, мы верили, мы не сомневались, мы метро построили, мы войну выиграли, – ну прямо зло берет жуткое! Да елки, думаю, палки, а кто ж строил Братскую ГЭС? А кто вот теперь на Доманском дрался, ну? Не наше поколение? И если

мне теперь начнут заливать, что Матросов или Космодемьянская не получали двоек и во всем были образцово-показательными – то я в это ни фиги не поверю. Потому что показуха есть показуха, а жизнь есть жизнь. И ты, старик, тоже начинаешь теперь крутить ту же волюнку: «время молодости наших предков». Мы-то тут при чем, если на их молодость пришлось война, а на нашу не пришлось? Те парни с Доманского, пока были дома, тоже наверняка и твистовали, и в стильных брючатах не прочь были прошвырнуться...

– Чего ты ломишься в открытую дверь? – сказал Андрей. – Кто с тобой на эту тему спорит? Уж нам-то ты можешь не доказывать, что мы не все сплошь стилиаги и тунеядцы. Я хочу сказать другое: если предыдущему поколению нечего особенно перед нами заноситься – по той простой причине, что мы еще ни в чем не проявили себя менее стойкими, чем они, – то и у нас, во всяком случае, нет ровно никаких оснований заноситься перед ними. Ну, или сформируем так: пусть они не лучше нас, но и мы ничем не лучше их. Люди не стали лучше за эти тридцать лет, а ведь все остальное изменилось черт знает как – и техника, и... вообще все. Вот, в космос стали летать. Тут несоответствие какое-то, понимаете? Поэтому я и говорю, что прав Петька, когда сомневается в таком уж безоблачном будущем для человечества...

– Слушайте, ну вы действительно нашли, о чем беседовать в такой день! – решительно вмешалась Катя. – «Будущее человечества» – просто странно слушать, честное слово! Девочки, ну почему вы молчите?

– А если мне интересно, – сказала Ника.

– Вруша бессовестная, – сказала Рена. – Ей, видите ли, интересно. Ты еще скажи, что ты в этом что-то понимаешь! Я вот, например, не понимаю и понимать не хочу. И вообще, по моему, пора отсюда уматывать. Такая погода, а мы сидим в этой духоте, как шесть кретов. В самом деле, мальчики, кончайте треп, и пошли проветриваться, а?

– Вот разумная мысль, – сказал Андрей. – Здесь и в самом деле душно. Ты, Ника, как на это смотришь?

– Можно, – задумчиво сказала та, глядя в окно.

– Что «можно»?

– Можно пойти. Можно погулять здесь или в Сокольники поехать...

– Сокольники! – Игорь поморщился. – Это не место для белого человека. Но что-нибудь придумаем, поэтому вставайте, братья и сестры, и организованно хилийте к выходу.

– Надо не забыть расплатиться, – напомнила Катя.

– Правда? Ух ты, моя радость, какая же ты у нас сознательная! Пит, можно ее поцеловать?

– А по шее не хочешь? – спросил Пит.

Выйдя из «Праги», компания свернула направо и потащилась по Арбату, лениво обсуждая планы дальнейшего времяпрепровождения; однако, несмотря на оптимизм Игоря, ничего достойного придумать не удалось, и, дотавившись до Смоленской площади, они расстались под сенью МИДовского чертога, пообещав друг другу позванивать и вообще не терять контакта. Рената с Игорем побежали на троллейбусную остановку, Пит с Катей отправились разыскивать в районе Киевского вокзала какую-то комиссионку, где, по непроверенным слухам, были дешевые японские транзисторы, а Ника с Андреем, проводив их до моста, побрели вниз по Ростовской набережной.

– Это правда, что ты уезжаешь с отрядом на целину? – спросила Ника.

– Правда и только правда, ничего кроме правды.

– Странно...

– Что странно?

Ника не ответила, заинтересовавшись вдруг речным трамваем, который медленно отходил от причала «Киевский вокзал».

– Странно, что я узнала об этом только сегодня, – сказала она наконец. – Тебе не кажется, что ты мог бы и раньше поделиться со мной своими летними планами?

- А ты делилась со мной своими?
- А у меня, представь себе, их вообще не было! Все зависело от того, получит ли Светка отпуск, а она не знала, только вчера наконец позвонила: отпуск у них в июле, они с мужем собираются на Юг, спрашивала, будет ли свободна машина. Зовет меня ехать вместе.
- Поезжай, конечно.
- Разумеется, поеду, но это выяснилось только вчера! А ты когда решил насчет стройотряда?
- Решил давно, но оформили меня тоже вот только что.
- Решил – и молчал?
- Последнюю неделю ты вообще не изволила меня замечать.
- Ах вот что! Но у меня, согласишься, на это были основания.
- Например?
- Не притворяйся, пожалуйста. Ты ходил в театр с Мариной?
- Первой, если помнишь, я пригласил тебя.
- А я не смогла пойти, меня не пустили.
- Не пустили?
- Да, не пустили! За то, что я тогда потеряла портфель и не пошла в школу.
- Первый раз слышу, – сказал Андрей, пожимая плечами. – Мне ты сказала, что сама не хочешь идти.
- Мало ли что я сказала! Ты все равно не должен был приглашать Марину...
- Почему это? Ты отказалась, я предлагал билеты родителям – они в тот вечер были заняты. А Марина давно хотела побывать в «Современнике».
- Все равно, – упрямо повторила Ника. – Я на тебя очень обижена. Ты действительно уже оформился в стройотряд?
- Да, уже. А что?
- Да нет, я просто подумала... Собственно, я могла бы и не ехать со Светкой, – неуверенно сказала Ника. – С ними еще будет какой-то Юркин сотрудник, я его совершенно не знаю...
- Поезжай, что тебе делать летом в Москве.
- Да, наверное, поеду, – вздохнула Ника. – Ты рад, что перешел в десятый класс?
- Я не сомневался в этом, так что радоваться особенно нечему. А вообще, конечно, хорошо – еще всего-навсего один год, и...
- И? – насмешливо переспросила Ника. – В том-то и дело, что ты сам не знаешь!
- В каком смысле?
- А во всех решительно. Со мной вдруг случилось что-то непонятное. Понимаешь... Еще недавно я так хотела поскорее стать взрослой. Так радовалась, когда весной получила паспорт! А сейчас я... сейчас мне... не то чтобы расхотелось стать взрослой – мне вдруг стало страшно...
- Но чего именно?
- Не знаю, не знаю... Вдруг все получится вовсе не так, как ожидаешь, и потом... еще эта ответственность! Я вдруг подумала: какая это ответственность – быть взрослой...
- А чего ты, собственно, ожидаешь от жизни? – спросил после паузы внимательно слушавший Андрей.
- Не знаю, но чего-то... настоящего, наверное.
- Нет, но все-таки – более конкретно?
- Не знаю, – беспомощно повторила Ника.
- Послушай-ка. Ты Чехова любишь?
- Чехова? Нет, не очень, а что?
- Почему не любишь?

Ника подумала и пожала плечами:

– Ну... мне скучно его читать. Нет, не потому, что он плохо пишет, – пишет он хорошо, но просто... очень уж скучно то, что он описывает.

– Скучно – или страшно?

– Да, пожалуй, и страшно... если задуматься, – согласилась Ника.

– Помнишь рассказ про человека, который всю жизнь мечтал купить усадьбу и есть собственный крыжовник?

– Да, помню. Это действительно очень страшный рассказ...

– Очень страшный, – подтвердил Андрей. – И знаешь чем? Самое страшное в этом рассказе – это то, что такие люди всегда были, есть и будут. Чеховский герой копил деньги на усадьбу, а сегодня такой будет копить на машину – десять лет будет копить, потом получит и будет дрожать над каждой царапиной. Представить себе такую жизнь...

– Да, это страшно. Если нет ничего другого...

– В том-то и дело. Я ведь не против того, чтобы что-то приобретать, если есть возможность, – добавил Андрей. – От машины, например, я бы не отказался, но мечтать о ней считаю ниже своего достоинства.

– Я понимаю... А о чем ты мечтаешь? Поступить в Строгановку?

– Я мечтаю стать художником. Это главное. А Строганова – это уже деталь. Рано или поздно я туда поступлю, вероятно, но даже если нет... В Ленинграде тоже есть хорошее училище – имени Мухиной, можно будет попытаться туда. Но это все детали, самое главное – хватит ли способностей...

– У тебя есть способности, – твердо сказала Ника.

– В обычном понимании – да. Но мне этого мало, мне нужно другое.

– Талант?

– Да, если хочешь, талант, – с вызовом подтвердил Андрей. – Я считаю, в искусстве нельзя быть средним. Где угодно можно, а в искусстве – нельзя. Понимаешь, средний инженер или средний закройщик – они все равно делают полезное дело, пусть немного хуже, чем получается у других, но все равно. А средний художник, средний композитор, средний писатель – они приносят вред. Понимаешь? Человек не имеет права быть средним, если он хочет заниматься искусством. Первым – или никаким!

– Не могут же все быть первыми, – рассудительно заметила Ника.

– Ты права, я не так выразился. Не первым – в смысле единственным, – но одним из первых. В первом разряде, скажем так.

Ника долго молчала.

– Это, наверное, трудно определить... в каком кто разряде Ты рассказывал про импрессионистов – их ведь никто не признавал, помнишь? Всем они казались самыми что ни на есть последними...

– Они опередили свою эпоху, в этом все дело. Настоящий художник всегда опережает эпоху, иначе и быть не может.

– Поэтому я и говорю: кто тогда может правильно определить твой «разряд»? Если другие тебя не понимают...

– Другие, конечно, не поймут.

– А ты сам? Помнишь, в «Творчестве», этот художник, ну, главный герой, – он сам был все время недоволен своей работой...

– Да это совсем другое дело! Он был недоволен именно потому, что чувствовал себя в силах писать лучше, понимаешь? Это просто повышенная требовательность к себе...

– А-а, ну ясно. – Ника опять помолчала. – Я, конечно, мало что понимаю, но ты, по моему, будешь настоящим художником.

– Посмотрим...

– Я уверена. Слушай, если нас не отправят в совхоз на практику... Ты ведь через две недели уезжаешь?

– Приблизительно. А что?

– Нет, я просто подумала... – Щурясь на солнце, Ника отвела от щеки волосы. – Пока ты еще будешь в Москве, мы могли бы куда-нибудь съездить... вместе. В Останкино, например, там неплохой пляж. Конечно, если ты хочешь.

– Можно, – сказал Андрей. – Это неплохая идея.

Глава 7

Неистовое солнце полыхнуло ему навстречу, едва он перешагнул выгнутый алюминиевый порог и ступил на площадку трапа и вместо профильтрованного, пахнущего нагретой пластмассой, кофе, духами и еще чем-то синтетическим, нежилого воздуха пассажирского салона полной грудью вдохнул горячий и свежий степной ветер. Ветер дул спереди, вдоль фюзеляжа, и керосиновым чадом тянуло от умолкших турбин – видно было, как над их остывающими черными соплами еще струятся зыбкие потоки раскаленного воздуха, – но еще сильнее над аэродромом чисто и первозданно пахло степью, чебрецом, полынью, пастушьими нагорьями древней Тавриды. Щурясь» он поднял глаза к слепящей бездонной синеве, вспомнил мокрые тротуары Невского, Московские ворота за туманной сеткой мелкого косого дождя – и побежал вниз, радуясь как мальчишка, волоча по ступенькам трапа брезентовую дорожную сумку.

Витенька Мамай появился, когда он получал багаж.

– Привет, командор! – заорал он жизнерадостно, размахивая руками и вытыкиваясь на цыпочках из толпы. – Вы уже здесь! А я вас ищу там!

Он протолкался к Игнатьеву, выхватил чемодан, вскинул на плечо лямку рюкзака. Толпа медленно понесла их к выходу; Мамай шумно расспрашивал об институтских делах, о погоде в Питере и общих знакомых.

– Ты хоть скажи, что в отряде? – сказал Игнатьев, прерывая своего помощника. – С транспортом удалось что-нибудь придумать?

– С транспортом? – переспросил Витенька. – Ха! Пора бы вам, шеф, знать мои организаторские способности. Машина у нас уже есть – роскошная, легковая. До осени в полном распоряжении! Правда, без шофера, но у меня есть права.

– Кто же это расщедрился?

– Колхоз, колхоз! Сам Денисенко, Роман Трофимович. Я с ним такую тут баталию выдержал – хоть вторую «Илиаду» пиши...

Тут поднажавшая толпа разделила их, и Игнатьев так и не услышал подробностей эпической схватки с председателем колхоза. Выбравшись наружу из душного павильона, он огляделся – Витенька махал ему, тыча рукой куда-то в сторону.

– Сюда, сюда пробивайся! – закричал Мамай. – Вон она, на стоянке, наша красавица! Та, что с краю!

Они подошли к стоянке, и Витенька с гордостью распахнул перед Игнатьевым дверцу самой странной из собравшихся здесь разношерстных машин. Это была облупленная, грязно-фиолетового цвета «Победа» без крыши, на нелепо высоком шасси повышенной проходимости.

– Ну что ж, прекрасный автомобиль, – сказал Игнатьев одобрительно. – Если не ошибаюсь, это почти вездеход. И цвет такой изысканный. А... крыши вообще не будет?

– Вот чего нет, того нет, – признал Витенька. – «Победы» первых выпусков имели вместо жесткой крыши брезентовый тент, но в данном случае он пришел в негодность и был вообще снят. В здешних климатических условиях это, я бы сказал, преимущество. В Америке, например, в южных штатах, все поголовно ездят только в открытых машинах. Там это называется «конвертибель» – машина с опускающейся крышей. Миллионеры других просто не признают!

– Здесь, насколько я понимаю, опускаться нечему, а? Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Меня удивляет одно: в прошлом году мне приходилось встречаться с этим председателем, и у меня сложилось впечатление, что у него снега зимой не выпросишь, не то что машину...

– В прошлом году! – Витенька засмеялся, заталкивая чемодан в багажник. – С прошлого года здесь многое изменилось. Я всегда считал, что руководитель экспедиции должен внима-

тельно читать местные газеты... Ну давай, забирайся. В город заезжать не будем? Ты дверцу только поплотнее захлопни, иногда отскакивает...

Игнатъев уселся на продавленное сиденье, кустарно обтянутое горячим от солнца дерматином, прихлопнул дверцу и подергал ее для верности.

– Что ж, трогай свой «конвертибль». Надеюсь, его не нужно крутить ручкой или толкать?

– Иди к черту, это абсолютно надежная машина, месяц как прошла техосмотр. Через три часа будем в отряде, можешь засечь время.

– Ох, Витя, не искушал бы ты судьбу...

Фиолетовый «конвертибль» заскрежетал, зафыркал, взревел и, круто вывернувшись со стоянки, резво побежал по шоссе, поскрипывая и побрякивая чем-то внутри. Сразу уплотнившись, туго ударил в лицо ветер, перехлестывая через лобовое стекло. Игнатъев достал из нагрудного кармана ковбойки дымчатые очки, подышал на них и тщательно протер обрывком бумажной салфетки.

– Ну вот, – произнес он удовлетворенно, окидывая взглядом обесцвеченный солнечным маревом горизонт и синевато-сиреневые, словно подернутые дымком, массивы Бабуган-Яйлы на юге, за курящимися в ложбине фабричными трубами Симферополя. – Так расскажи, что произошло с председателем?

– Произошло прежде всего то, что прошлой осенью, уже после нашего отъезда, колхоз этот вышел в передовые. Что-то они там выполнили и перевыполнили. Словом, раззвонили о них на всю Украину, а председателя объявили маяком и дали ему Героя. Я обо всем этом узнал от аборигенов в первый же день, как только приехали. Ну, и у меня сразу сработало! Я решил бить на тщеславие. Ибо тщеславие, командор, – это незаконное дитя славы. Между прочим, почти афоризм, хотя придумал я сам, только что. Словом, приехал я к Денисенке, добился приема, – между прочим, это теперь не так просто! – ну, и пустил в ход красноречие. Послушайте, говорю, к вам теперь делегации ездят, еще, глядишь, из-за границы навалятся, – ну, говорю, овцы и виноград дело хорошее, однако французов каких-нибудь или австралийцев вы этим, пожалуй, не удивите, вам, говорю, о другом пора думать. Культура, говорю, новый быт, стирание граней! Он мне на это – что ж, говорит, мы вон какой Дом культуры отгрохали, еще и кинотеатр широкоэкранный будем строить. Господи, говорю, да где их теперь нет, широкоэкранных... Дворцами культуры и кинотеатрами, говорю я Денисенке, вы теперь никого не поразите. А вот если колхоз вложит свою, так сказать, лепту в научные изыскания – вот это действительно примета нового, да еще какая! Этак и во всесоюзном масштабе можно прославиться...

– Ты что, поддал в тот день для храбрости?

– Циник ты, Димка. Не можешь себе представить вдохновения без поддачи? Я по системе Станиславского работал – вошел в образ, вжился. И вот тебе, пожалуйста, результат, – он нежно погладил растрескавшийся обод руля и победоносно покосился на шефа. – И учти, Денисенко не такой простофиля, чтобы ему можно было легко заморочить голову. Как он спорил! Это была битва титанов, гигантомахия! Когда я сказал о науке, он тут же меня срезал, заявив, что колхоз уже «до биса грошей» всадил в селекционные работы и в изыскания по борьбе с филлоксерой; что ж филлоксера, говорю я ему, она вас по карману бьет, еще бы вы с ней не боролись! Это и на Западе любой дальновидный хозяин вкладывает средства в выгодные для него исследования, нанимает себе ученых. Вы, говорю, пожертвуйте на чистую науку – бескорыстно, понимаете ли, из высоких побуждений... Сидит мой Роман Трофимович, набычился, глаза хитрые, маленькие... А я вам, говорит, не меценат, не Савва Морозов какой-нибудь! Представляешь? Знает же, стервец, тоже читал. Помилуйте, говорю, не о меценатах речь, от меценатов мы, слава тебе господи, еще в семнадцатом году избавились вполне радикально, – но вы, спрашиваю, отдаете себе отчет в том, что на территории вашего колхоза может быть скрыт второй Херсонес или еще один Неаполь Скифский?

Он рассмеялся и ловко закурил, придерживая руль коленом.

– Угровишь ты нас, – сказал Игнатъев. – Мне всю зиму снились автомобильные кошмары – начинаю понимать, к чему.

– Не угроблю, – возразил Мамай. – Напротив, командор, я вас спасаю. В смысле – всех нас, весь отряд. Я этого куркуля Денисенку обрабатывал два дня подряд, охрип, честное слово, – тут уж у меня все пошло в ход: и крито-микенская культура, и черные полковники, и хитроумный царь Одиссей, и Микис Теодоракис... Короче, раскололся мой председатель! Денег, правда, не дал – да я на них и не рассчитывал, – но машину предоставил в безвозмездное пользование, продукты распорядился отпускать по себестоимости, словом частично взял нас на свое иждивение. Ничего, мужик он хороший. Второго Херсонеса мы ему, конечно, не раскопаем, но насчет материала в местную прессу можно будет сообразить. Что-нибудь вроде: «Колхозный руководитель нового типа»!

– Все это хорошо, Витя, но ты скоро превратишься в настоящего арапа. Устанавливать контакты и достигать взаимопонимания с местным руководством – дело, конечно, полезное. И все же...

– Что вы хотите, командор, в каждой экспедиции должен быть свой штатный арап! Меня Денисенко спрашивает с подковыркой: «Вон у вас бумаги какие – с печатями Академии наук, так что ж она, ваша Академия, грошей-то не дает на эту самую «чистую науку»?..»

Они замолчали. Игнатъев, пригнувшись от ветра, тоже закурил и спрятал папиросу в кулаке. Впереди, в солнечной дымке, уже угадывались очертания мелового плато над Карасуб-азаром.

– Да, нашего брата нынче не балуют, – сказал Игнатъев. – Немодная наука, что ты хочешь. Физика, молекулярная биология – это сейчас главное, а кто принимает всерьез историю? Моя бывшая руководительница раскапывала Керкинитиду, – ты в Евпатории бывал? – там часть стены вскрыта прямо в городском парке, возле музея, это получилось удачно; но зато другой раскоп оказался на территории какой-то здравницы, и вот тут пришлось драться за место под солнцем. Понимаешь, это был военный санаторий, Министерства обороны, а полковники медицинской службы народ решительный: налево кругом, марш, и никаких разговоров. Однако та тоже дама упорная, добилась каким-то образом разрешения через Москву и прокопалась весь сезон до победного конца. А на следующую весну возвращается – раскоп засыпан! Ей-богу. Даже, черти, деревца там какие-то посажали, как будто так и было...

– И что же она? – смеясь спросил Витенька. – Снова через Москву действовала?

– Нет, собственными руками повыдергивала древонасаждения и стала копать дальше.

– Правильно, – одобрил Мамай, – зная советской исторической науки следует держать высоко. В Белогорске придется заскочить на станцию. Я, когда туда ехал, не заправился, боялся опоздать к самолету. Ничего, мы это сейчас мигом...

Подкатив к заправочной станции, они убедились, однако, что «мигом» тут ничего не выйдет: семьдесят второго в продаже не было, и к единственной исправной колонке, отпускаявшей шестьдесят шестой, выстроилась длиннейшая очередь. Когда фиолетовый «конвертибль» занял место за надраенной голубой «Волгой» с московским номером и хромированным багажником на крыше, в заднем окне щегольской машины немедленно появились любопытные физиономии.

– Смотрите, завидуйте, – пробормотал Мамай, – это не то что ваше серийное убожество... Димка, ты сумеешь выжать сцепление и воткнуть первую скорость?

– Воткнуть – что и куда? – спросил Игнатъев.

– Ну, вот этот рычаг на себя и вниз. Это чтобы в случае необходимости продвинуться вперед. Я бы тем временем сходил на разведку.

– Лучше не надо, – отказался Игнатъев. – Я еще продвинулся не в ту сторону. Ты сиди тут, а на разведку я схожу сам.

Он выскочил из машины, с удовольствием разминая ноги, и прошел под навес, где, озабоченно пересчитывая талоны, толпились бледнолицые частники в мятых джинсах и пропотевших на спине гавайках, похожие на летчиков-испытателей мотоциклисты со своими столь же замысловато обмундированными подружками и темно-медные от постоянного загара, выдубленные степными ветрами и прокопченные соляжкой водители «ЗИЛов» и «МАЗов». Когда Игнатъев подошел, толпа начала волноваться и выражать даже нечто вроде коллективного протеста, теснясь к окошку, но оттуда послышался пронзительный женский голос, который в неповторимом тембре уроженки Северного Причерноморья стал выпаливать какие-то местные вариации на тему «вас много, а я одна»; потом окошко с треском захлопнулось и за стеклом закачался плакатик неразличимого издала содержания.

– Ну не паразитка? – сказал кто-то рядом с Игнатьевым. – Еще двадцать минут до передачи смены, так она талоны села считать, шоб ей сто чирьев повыскочило на том самом месте! А смену станут передавать – это еще полчаса с гаком. Ну до чего ж поганая баба, шо ты с ней сделаешь...

Игнатъев вернулся к фиолетовому вездеходу, возле которого трое мальчишек уже спорили – трофейная это машина или самодельная, на конкурс «ТМ-69»; Мамай невозмутимо дремал за рулем, надвинув себе на нос треуголку из «Литературной газеты». Игнатъев подошел, прочитал наполовину срезанное заломом интервью Евгения Сазонова и, посмеиваясь, щелкнул по гребню треуголки. Витенька встrepенулся.

– Что, уже? – спросил он сонным голосом, хватаясь за ключ зажигания.

Игнатъев остановил его руку:

– Не спеши, у нас впереди еще как минимум час времени.

– А что там такое?

– Там, насколько я понял, готовится какая-то пышная церемония – вроде смены караула. А королева бензоколонки приводит в порядок свою отчетность и никому, бензина не отпускает.

– На то она и королева, – философски заметил Мамай и, зевнув, добавил: – Туды ее в качель. Знаешь, Димка, больше всего мне бы хотелось воскресить дюжину-другую радетелей за женское равноправие. И погонять их, стервецов, по нашей сфере обслуживания...

– Ну, ты женоненавистник известный, – сказал Игнатъев. – Увидишь, когда-нибудь наши отрядные дамы подсыпят тебе толченого стекла в кашу. Так что, будем ждать или попытаемся доехать до Феодосии?

– Это семьдесят километров, – с сомнением сказал Витенька. Щелкнув ключом зажигания, он пригнулся к приборному щитку и постучал по нему кулаком. – Я бы не рисковал, бензина у нас практически нет. А стоять на обочине, протягивая за подаванием канистру, – как-то, знаешь, унижительно.

– Ну что ж, тогда подождем. А пока пошли пить пиво!

– Да, пивка бы сейчас не мешало. Но крымская ГАИ, понимаешь, это такие звери! Нешто рискнуть?

– Ах да, верно, тебе же нельзя! Ну, хоть кваску попьем, если найдется.

– Да нет, иди уж сам, нет хуже самоистязания из солидарности. Чеши, старик, я тут подремлю пока, сегодня чего-то не выспался...

– Так и будешь спать на солнцепеке?

– Ничего, жар костей не ломит. Идите, командор, не терзайте шоферскую душу.

Игнатъев послушно удалился. Он выпил кружку неожиданно хорошего и даже холодного пива, отстояв очередь в душном павильоне, потом купил для сравнения три пачки «Беломора» – ростовской, одесской и симферопольской фабрик. Дальше делать было нечего, он чувствовал себя легко и беззаботно и немного неприкаянно, как школьник, на которого вдруг свалились внеплановые каникулы. У него, правда, никаких каникул не было, напротив, для него сейчас начиналась работа – главная, та самая, ради которой он всю зиму высиживал бес-

конечные заседания в старом великокняжеском особняке на набережной Невы, проводил дни в читальных залах БАНа и Публички, мучился за пишущей машинкой. По идее, камеральный период должен был быть временем творческим, когда осмысливались и приводились в систему вороха полевого материала – сырого, необработанного, зачастую противоречивого; но Игнатьев всегда почему-то ощущал, может быть вопреки здравому смыслу, что истинное творчество начинается именно там, в поле. Возможно, он просто был не из породы теоретиков.

В общем-то, он довольно рано защитил вполне приличную кандидатскую, и у него были уже припасены мысли, которые со временем могут стать опорными точками для докторской, – так что голова, вероятно, работала у него не хуже, чем у других. Он регулярно печатался, и пишущая машинка была для Игнатьева таким же привычным инструментом, как и лопата. Работа за столом доставляла ему много радостей (и огорчений, понятно, на то и работа), но никогда, пожалуй, придумав наконец точную формулировку и выстукав ее двумя пальцами на своей портативной «Колибри», не испытывал он такого всепоглощающего творческого подъема, как в те минуты, когда, сидя на корточках в жарком, как устье печи, раскопе, он откладывал нож и начинал осторожно, как хирург, прикасающийся к обнаженному сердцу, обметать кисточкой сыроватую еще землю с зеленого от окислов металла, пролежавшего во мраке двадцать столетий...

Все это ждало его теперь там, впереди, в двух часах езды отсюда, и на целое лето, до осени! Игнатьев сел на камень в тени чахлой акации, закурил папиросу, выбрав для начала симферопольскую, и стал машинально следить за пробегающими по шоссе машинами. Редкая тень почти не давала пролады на этом знойном ветру, от шоссе несло цементной пылью, но жара казалась Игнатьеву превосходной и очень полезной для здоровья жарой, а пыль-то и вовсе была не помехой! К пыли на раскопках привыкаешь прежде всего, без этого уж нельзя. Работка, как говорят, не денежная, но весьма пыльная...

Он чувствовал себя просто отлично – как блудный сын, зашедший вдали кровлю родного дома. Ни бестолочь на заправочной станции, ни скверная симферопольская папироса не могли сейчас омрачить его благостного мировосприятия. В Питере-то, бывало, подобные штучки изрядно портили ему настроение: газетный киоск, например, закрытый в те самые часы, когда ему – согласно висящей тут же табличке – положено быть открытым, или отсутствие в магазинах хорошей гознаковской бумаги, на которой он привык работать, или обнаруженный в начинке «Беломора» обрезок шпагата... Мелочи, конечно, но очень уж противными кажутся они там, на Севере. Впрочем, Питер это всегда умел – превращать людей в неврастеников.

– Ну, ничего, – бодро сказал Игнатьев и втоптал окуроч в пыль – Впереди целое лето!

Через полтора часа, оставив позади райские долины Отузы и Карасевки, они были уже на Ак-Монайском перешейке – пороге Керченского полуострова. За Феодосией ландшафт изменился, пошли пологие, бурые от колючки холмы, степь, поля зеленой пшеницы. Здесь начиналась Киммерия. Пробежав по шоссе еще десяток километров, фиолетовая «Победа» свернула на проселок.

– Старик, можешь вылезти из машины и облобызать бетон, – сказал Мамай. – Цивилизации больше не будет, мы въезжаем в рабовладельческую эпоху. В сущности, наш фиолетовый драндулет – это почти машина времени... Во всяком случае, когда мы захотим проветриться или возникнет надобность обмыться, скажем, какое-нибудь эпохальное открытие – мы всегда сможем погрузиться в нее всей бандой и снова совершить большой скачок через двадцать три века...

– Куда это ты намерен скакать?

– Ну, в ту же Феодосию, там есть заведения. Конечно, просто выпивку можно организовать где угодно, Денисенко распорядился отпускать нам местное молодое вино по полтиннику

за литр... Но я говорю, в случае, если мы раскопаем что-нибудь достойное быть отмеченным таким симпозионом в цивилизованных условиях...

– Ты раскопай сначала, – скептически сказал Игнатьев. – Между прочим, Витя, с вином нужно поосторожнее. Учти, в отряде студенты.

– Шеф, я все учел! О том, сколько это вино стоит, знаем только мы с тобой... Но какой стервец Денисенко, хоть бы ухабы велел засыпать...

Машина, скрипя еще жалобнее, медленно ковыляла по выбоинам и колеям, взбираясь на невысокое плоскогорье. В стороне, на буром склоне холма, вроссыпь паслись грязно-серые овцы; неподвижная фигура пастуха, стоящего вверху на гребне с длинной герлыгой на плече, казалась какой-то ненастоящей, поставленной здесь для колорита.

– Библейская идиллия, – улыбнулся Игнатьев. – Витя, ты читал «Иосиф и его братья»?

– Манна? Нет, не успел еще. Стоит?

– Очень стоит. Если можно, пришпорь свой «конвертибль», если ускорение не будет связано с материальным ущербом. Последние километры всегда кажутся мне самыми Длинными.

– Не только вам, командор, это все говорят. Ничего, мы уже у цели...

Действительно, не прошло и десяти минут, как с широкого перевала перед ними раскрылась вдали туманная синева залива, кучка палаток отрядного лагеря на берегу и в стороне темные прямоугольники прошлогодних раскопов.

Когда они подъехали, весь личный состав высыпал им навстречу из большой, с поднятыми боковыми полотнищами, столовой палатки – шестеро практикантов, обладателей коллективного прозвища «лошадиные силы», две практикантки, повариха и единственный, кроме Мамаи и самого Игнатьева, научный сотрудник отряда Лия Самойловна, маленькая застенчивая женщина в очках без оправы, с облупленным от загара носом.

– Ура-а-а! – нестройным хором прокричали «лошадиные силы». – Виват командору! Бхай! Бхай!

– Ладно вам, черти, – сказал Игнатьев, выбираясь из машины. Он начал пожимать руки, отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. От кухоньки под навесом пахло дымом и куле-шом, и он вдруг почувствовал, что голоден – голоден и счастлив, как давно уже не был там, дома, в Ленинграде...

Глава 8

– Нам сделаны! Прививки! От мыслей! Невеселых! – диким голосом и во все горло распевала Ника в соседней комнате, стараясь перекрычать вой электрополотера. – От дурных болезней! И от бешеных! Зверей!

– Вероника! – строго окликнула Елена Львовна. – Поди сюда!

Ника, не слыша и продолжая упиваться своими вокализами, прокричала еще громче, что теперь ей плевать на взрывы всех сверхновых – на Земле, мол, бывало веселей. Потеряв остатки терпения, Елена Львовна вскочила, распахнула дверь в комнату дочери и выдернула шнур из розетки. Полотер умолк, дочь тоже.

– От каких это «дурных болезней» тебе сделана прививка? – со зловещим спокойствием спросила Елена Львовна.

– Понимаешь, – сказала Ника, подумав, – там могут быть всякие неизвестные нам вирусы. Пит говорит, что американцев, если они вернутся благополучно, – разумеется, неизвестно еще, полетят ли они вообще, – так вот, он говорил, что их будут год держать в карантине. Чтобы не занесли какую-нибудь новую болезнь, понимаешь? Я думаю, об этих дурных болезнях в песне и говорится. Это же про космос, мама. Она так и называется – «Космические негодяи...»

– Сам он негодяй, если сочиняет подобную пошлость. Ты мне не так давно заявила: «Эти песенки – уже пройденный этап, они меня больше не интересуют!» А сама поешь черт знает что! Я сожгу все твои катушки, так и знай, Вероника, сожгу или выкину в мусоропровод, если еще раз услышу от тебя эту мерзость!

– Если посчитать, сколько раз в день ты меня ругаешь и сколько хвалишь, то можно подумать я не знаю что, – печально сказала Ника. – Что я вообще чудовище какое-то. Обло, озорно и вообще. Другие матери просто не налюбуются на своих дочек!

– Другие матери воспитывают из своих дочерей черт знает что, – непреклонно сказала Елена Львовна. – А я хочу воспитать из тебя человека – порядочного, обладающего чувством собственного достоинства, ясно представляющего себе свою жизненную цель и умеющего ее достичь... словом, настоящего советского человека. А ты даже не даешь себе труда задуматься над своим будущим, ведешь себя безобразно, во всеуслышание распевашь хулиганские песни. Разве мать может смотреть на это равнодушно?

– Наверно, не может, – согласилась Ника. – Но неужели я действительно такая уж гнусная? Ведь другие этого не считают. Например, Андрей, – только я тебя очень прошу: это ужасный секрет, и ты никому, понимаешь, никому-никому не должна об этом рассказывать! – так вот, Андрей, когда я его провожала, сказал, что ему будет меня не хватать, и когда я спросила, почему это ему будет меня не хватать, что во мне такого особенного, то он сказал, что уважает меня как человека. И еще он сказал, что такие, как я, встречаются редко. Значит, он совсем ничего во мне не понимает?

Елена Львовна долго молчала, потом спросила:

– Тебе серьезно нравится Андрей?

– Нравится, конечно, только не так, как ты думаешь, – ответила Ника. – Может быть, он нравился бы мне и в этом смысле, но только я все время чувствую, что ему это ни к чему. Ты понимаешь, вот бывают люди, которых в жизни интересует только что-то одно, да? По-моему, Андрей такой и есть. Его интересует только искусство. Наверное, он женится когда-нибудь, но все равно... для него это будет так, где-то в сторонке. Я бы не хотела быть его женой.

– Глупышка, – усмехнулась Елена Львовна и, обняв дочь за плечи, на секунду крепко прижала ее к себе. – Тебе рано об этом думать. Беги, кончай уборку, они скоро придут...

– Иду, мамуль. Послушай, если Светка станет тянуть с отъездом, ты ей особенно не потакай, хорошо? А то начнется беготня по магазинам, хождение по театрам... Нет, ну правда, мамочка, – ехать так ехать, а то ведь и лето не заметишь как пройдет!

– Не беспокойся, вряд ли они станут задерживаться, у них тоже ведь время ограничено, – сказала Елена Львовна.

Минут через сорок – Ника едва успела покончить с уборкой квартиры, принять ванну и одеться – гости наконец явились. В прихожую, пропустив перед собой Светлану, шумно ввалился отец, потом боком, пронося чемоданы, протиснулся Светланин муж, Юрка. За Юркой, нагруженный пакетами и футлярами, появился незнакомый Нике молодой мужчина в спортивной одежде, отдаленно похожий на какого-то киноактера, то ли итальянца, то ли француза.

– Ох, наконец добрались! – кричал Иван Афанасьевич, стаскивая пиджак. – Два часа ехали от Домодедова, уму непостижимо! Ну и жарища сегодня, – Ника, тащи-ка нам пива из холодильника, давай-давай, не помрем, мы народ крепкий! Ну, вы знакомьтесь, кто кого не знает...

– Так рассказывай, как ты тут живешь, – сказала Светлана, войдя к Нике в купальном халате и резиновой шапочке. – Уф, хорошо помылась...

Она опустилась на тахту, усталым жестом стащила шапочку и растрепала волосы.

– Жара в Москве невыносимая, я уж отвыкла немного, у нас все-таки чуть попрохладнее... На море хочется – ты себе представить не можешь. Послушай, лягушонок, если не трудно, принеси из столовой меньший чемодан – тот, что на молнии, только не черный, а коричневый.

Ника выскочила в столовую, где мужчины сидели в креслах возле раскрытой на балкон двери, расставив пивные бутылки прямо на полу. Нагнувшись над сложенным в углу багажом гостей, она искоса глянула на Юркиного приятеля, безуспешно пытаясь вспомнить, на кого же он все-таки похож. Тот обернулся в эту самую секунду и ласково улыбнулся ей, показывая великолепные зубы Ника вспыхнула – еще подумает, что она подглядывает за ним! – и, выдернув из-под большого чемодана маленький, коричневый, быстро вернулась к себе в комнату.

– Спасибо, роднуля, – сказала Светлана. – Брось на кресло. Ты почему такая красная?

– Ничего подобного, просто я долго стояла вниз головой, и вообще ужасно жарко сегодня...

– Господи, лягушонок, чего это тебе вздумалось стоять вниз головой? – удивилась Светлана. – Ты занимаешься по системе йогов?

Ника отошла к открытому окну, задернула штору и, спрятавшись за нее, легла грудью на подоконник.

– Я не занимаюсь ни по какой системе йогов, – сообщила она. – Доставала твой чемодан, он оказался в самом низу. Слушай, этот... ну, Адамян, – он на кого-то похож, правда?

– Артур? – Светлана засмеялась. – Он похож на испанца, на тореадора, у нас его называют Дон Артуро. Смотри не влюбись, институтские девчонки бегают за ним как пришитые... Впрочем, он женат. Иди сюда, помоги мне застегнуться.

Ника, помахав перед лицом растопыренными пальцами, чтобы охладить щеки, выбралась из своего укрытия.

– Интересно, чего это я стану в него влюбляться, – пробормотала она, – ты с ума сошла – говорить такие глупости...

– Это еще что за тон со старшей сестрой? – притворно строго спросила Светлана и, поймав Нику за руку, притянула к себе и шлепнула – Смотри у меня! Застегивай молнию, только осторожно, чтобы не заело... Готово? Ну, спасибо. А ты прехорошенькая стала, лягушонок, откуда что взялось. На свидания бегаешь, признавайся? И платице миленькое, очень. Шила или готовое?

– Готовое. Это лен с лавсаном, очень прохладное. Только немного колется, если надевать без рубашки...

– Ну, прекрасно. Идем поможем маме, а то мы никогда не сядем обедать, я проголодалась невыносимо.

– Да, сейчас иду, – рассеянно отозвалась Ника. Проводив взглядом старшую сестру, она присела на край тахты и вздохнула. Она почему-то много ждала от встречи со Светланой, а теперь ей уже казалось, что ждала напрасно. Она не знала теперь, получится ли у нее со Светланой долгожданный разговор о самом важном. Конечно, человек устал с дороги, это понятно; но все-таки, что это за манера – спросить: «Как ты поживаешь?» – и тут же перевести разговор на другое: «Ах, какое платьице миленькое. Колется? Ну, прекрасно!» Что, спрашивается, в этом прекрасного? Ника поежилась – платье действительно кололось, – потом, вздохнув еще печальнее, встала и отправилась помогать матери и сестре. Очень важно было, проходя через столовую, постараться как-нибудь не взглянуть ненароком на этого – ну, как его – Дона Артуро...

За обедом он, как назло, оказался сидящим напротив. Ника ела, не подымая глаз от тарелки, но все время слышала его голос – кажется, он говорил больше всех за столом. Юрка вообще был не из разговорчивых, Светлана казалась то ли усталой, то ли чем-то подавленной, зато Адамян был в ударе, болтал без умолку. О чем только не успел он рассказать за какой-нибудь час – и о своей туристской поездке на Байкал, и о встречах с американскими физиками в Штатах (зимой они с Кострецовым были там в командировке), и об особенностях исполнительской манеры Святослава Рихтера, и как ловят форель, и как однажды ему пришлось выступать в концерте под чужим именем, выручая запьянствовавшего приятеля-пианиста.

Собеседник он, надо сказать, был не из тех, с которыми скучно за столом; но Ника не могла подавить растущего раздражения. «Что же мне прикажете делать, – казалось, говорил Адамян всем своим видом, – если я красив и знаю об этом, потому что вижу, какими глазами смотрят на меня женщины; что же мне прикажете делать, если я талантлив и во всех отношениях незауряден, если я сумел почти одновременно окончить физмат и консерваторию, если я за роялем отдыхал от работы над диссертацией, – что же мне теперь, скромности ради изображать из себя такого серенького иван-иваныча?» Все это было так, Юрка по сравнению с Доном Артуро выглядел вахлак вахлаком, и все же этот блестящий и заслуженно упивающийся своим блеском физик-торец с модными бачками и обольстительной улыбкой был ей чем-то удивительно неприятен...

Это очень огорчало ее, потому что им предстояло вместе ехать на Юг, пробыть вместе почти полтора месяца. Ника до сих пор никуда не ездила без родителей и автомобильное путешествие этого года предвкушала еще и как первую свою вылазку в заманчивый мир взрослых, обладателей священных прав – ходить в кино когда угодно и вообще располагать собою по своему усмотрению. Разумеется, такую поездку желательно было бы совершить в обществе людей приятных и интересных – таких, во всяком случае, которые бы по меньшей мере не вызвали к себе чувства безотчетной неприязни...

А если говорить об Адамяне, то ее внезапно вспыхнувшая неприязнь к нему была, если разобраться, не такой уж и безотчетной. Перед обедом, когда стол был уже накрыт, а Светлана с мамой еще возились на кухне, отец и Юрка спустились вниз, чтобы взять что-то из машины; Ника, таким образом, осталась наедине с Доном Артуро, который немедленно усадил ее в кресло у балкона, сам сел напротив и принялся расспрашивать о школьных делах, – видно было, что дела эти нужны ему, как кошке гитара, а Ника всегда ужасно глупо себя чувствовала, когда ей приходилось вести с кем-нибудь из взрослых пустой разговор из вежливости.

Но совсем возмутительным оказалось то, что он смотрел на нее при этом какими-то такими глазами – ну, в общем, так смотрел, что ей сразу стало стыдно сидеть перед ним в своем модном, слишком коротком платье, и она поняла, что он догадывается об этом и это достав-

ляет ему удовольствие. Она не поняла даже, почему ее так смутил его взгляд, – с весны, когда она стала носить мини-юбки, многие посматривали на ее колени, и это не особенно возмущало ее, а иногда было даже приятно. Андрей, например, тот прямо говорил, что у нее красивые ноги, и, когда они накануне его отъезда ездили вдвоем купаться в Останкино, он рисовал ее в купальном костюме, на пляже, и ей тоже было приятно и ни капельки не стыдно. А сейчас, с Адамяном, ей было стыдно и нехорошо.

Вероятно, нужно было просто встать – выйти на балкон, например, или сесть за стол; но Ника знала, что Адамян тотчас же поймет, почему она встала, и получится еще хуже; кроме того, мама не раз говорила ей, что воспитанный человек должен уметь оставаться невозмутимым в самой неловкой ситуации, делая вид, будто ничего не случилось. Скажем, если кто-то в гостях опрокинул на себя тарелку, то нужно держаться так, словно для тебя человек, облитый супом, – самое обычное из зрелищ.

Поэтому Ника и продолжала сидеть с Доном Артуро, делая вид, будто не замечает или не понимает его «раздевающих», как это называлось в старых романах, взглядов, пока не вернулись остальные и стали усаживаться за стол. И вот с таким-то человеком ей предстояло теперь ехать на море – наслаждаться самостоятельностью!

Почти с ненавистью уже слушала она его застольные разглагольствования, его бархатный голос, которому едва уловимый акцент придавал какую-то особенную манерность, и думала о том, как здорово было бы поехать вместе с Андреем. Просто так, совершенно по-товарищески. Она была искренна сегодня, когда сказала матери, что Андрей нравился ей только «просто так»; но, конечно, попутешествовать по Югу с ним вдвоем было бы великолепно. Ника вспомнила, каким взрослым и мужественным выглядел Андрей в форме строительного отряда, похожей на мундир кубинского милисиано, и вздохнула, представив, как на привале варила бы что-нибудь на костре и поддерживала огонь, ожидая его возвращения с охоты...

– Лягушонок, не спи за столом! – повысив голос, сказала Светлана с другого конца стола.

Ника подняла голову и посмотрела на нее долгим отсутствующим взглядом.

– Папа спрашивает, когда мы намерены выезжать.

Ника перевела глаза на отца и рассеянно пожала плечами.

– Не знаю... мне, в общем, все равно, – сказала она. – Можно хоть завтра.

– Я бы лишнего не просидел, – сказал Иван Афанасьевич. – Завидую вам, мне-то раньше осени не вырваться... А у нас еще, понимаете, в министерстве – черти бестолковые – здание заселили, а вентиляция до сих пор не работает. Жарища – сдохнуть можно. И окна, главное, ведь не открываются! Не предусмотрено, говорят, чтобы не портили вид фасада. А какой там вид... – он не договорил и досадливо махнул рукой.

Начали обсуждать застройку проспекта Калинина, потом новую архитектуру вообще, потом Дон Артуро вспомнил своего дядюшку, архитектора, убитого под Сталинградом. Света сказала что-то о вышедших недавно воспоминаниях одного из видных наших военачальников, Иван Афанасьевич с нею не согласился, Юрка возразил и жене, и тестю. Начался довольно бестолковый спор, который Ника слушала со скукой и недовольством.

– Можно собирать тарелки? – спросила она наконец, решительно поднимаясь из-за стола.

– Собирайте, девочки, – обрадовалась Елена Львовна – Собирайте, сейчас будем подавать сладкое...

– Лягушонок, похозяйничай сама, я что-то устала, – сказала Светлана, закуривая сигарету из Юркиной пачки. – Ты ведь давно уже бездельничаешь? Вам теперь благодать – никаких экзаменов...

– Ничего себе «бездельничаю», весь июнь перебирала картошку! И вообще, не думай, пожалуйста, у нас тоже есть свои проблемы, – загадочно добавила Ника, принимая тарелку из рук Адамяна и сдерживаясь, чтобы не посмотреть на него.

Она вынесла стопку грязных тарелок на кухню, сложила их в раковину и задумчиво установилась на кран, из которого капало, очень скоро блеск никеля и равномерные щелчки падающих капель навели на нее какую-то сонную одурь. Подцепив пяткой, Ника выдвинула из-под стола треногий табурет и села, принявшись считать капли.

За этим занятием и застал ее Дон Артуро, неслышно – как на мягких лапах – вошедший в кухню с новой порцией грязной посуды.

Услышав за спиной вкрадчивое «разрешите», Ника от испуга и неожиданности чуть не свалилась со своего неустойчивого сиденья.

– Как вы меня напугали! – сказала она сердито. – Давайте я поставлю...

– Вы не выдержали больше этого спора, – Адамян улыбнулся. – Понимаю вас, я тоже с трудом переношу такие дискуссии.

– Я не люблю, когда вспоминают войну, – сказала Ника. – И мама, я знаю, совершенно не переносит всяких разговоров о войне, об эвакуации... мой братик умер в эвакуации, ему не было и года. Да и к чему вообще спорить? Как будто это имеет значение теперь, через тридцать лет...

– Ну, может быть, какое-то значение это имеет, – возразил Адамян рассеянным тоном. Вскинув голову и шурясь, он разглядывал стоящую на полочке старинную кофейную мельницу с ярко начищенными медными частями, которую Елена Львовна достала где-то после того, как в моду вошло украшать кухни всякой старой утварью – Может быть, это и важно... для историков... но меня не интересуют проблемы такого рода... и еще меньше – споры, в которых ни одна сторона заведомо не переубедит другую. Какая отличная вещь эта мельничка... с вашего позволения?

Не дожидаясь ответа, он снял мельницу с полки и стал разглядывать.

– Прекрасная вещь, сейчас такую не достать... Правда, у меня дома есть настоящая турецкая, ручной работы прошлого века. Но и эта хороша, можно получить очень тонкий помол. Вы пьете турецкий кофе?

Ника понятия не имела о том, что такое турецкий кофе, но признаться в своем невежестве постеснялась.

– Нет, – сказала она. – Терпеть его не могу.

– Жаль, – томно сказал Адамян, глядя на нее полуприкрытыми глазами. – Я мог бы вам погадать... я это умею, у меня была няня-турчанка...

– Как погадать? – спросила Ника, против воли заинтересовываясь.

– Самым древним и самым безошибочным способом – на кофейной гуще...

Секунду-другую Ника смотрела на него большими глазами, потом прыснула от подавленного смеха, как пятиклассница. Физик, пианист, тореадор и вдобавок ко всему еще и гадалка! Она представила себе своего элегантного собеседника укутанным в черную шаль и почему-то сидящим на полу перед разложенным колдовским инвентарем и, не в силах больше сдерживаться, закинула голову и расхохоталась во все горло. Засмеялся и Адамян.

– Какая трогательная, жизнерадостная сценка, – сказала Светлана, появляясь в дверях. Руки у нее были заняты, и зажатая в углу рта дымящаяся сигарета заставляла ее говорить сквозь зубы. – Адамян, если ты вздумаешь рассказывать девочке анекдоты из своего репертуара... Возьми, лягушонок! Куда ты исчезла, мама ведь просила убрать со стола...

– Вообрази, Артур Александрович умеет гадать на кофейной гуще, – все еще со смехом сказала Ника, принимая из рук сестры посуду.

– Артур Александрович много чего умеет, – холодно отозвалась Светлана. – Где у вас чашки для компота?

– Вон там, в правом отделении!

Адамян, полуулыбаясь, перевел взгляд со старшей сестры на младшую, потом обратно.

– Светлана Иванна, разрешите вам помочь, – произнес он нараспев.

Светлана, не ответив ему, вышла из кухни с подносом.

– Она на вас сердита? – с любопытством спросила Ника.

– Не думаю. Просто плохое настроение, усталость.

– Светка очень похудела за то время, что я ее не видела. У нее опасная работа?

– Чепуха... это вы посмотрелись фильмов и начитались книг, – беззаботно ответил Адамян.

Ника помолчала.

– А как вы гадаете на кофейной гуще?

– О, нет ничего проще. Варится крепкий турецкий кофе – лучше в настоящей медной джезве, но можно и просто в кастрюльке, – немного, всего одна чашка... да, и еще чашка должна быть определённой формы... как бы вам объяснить... с внутренней поверхностью, максимально приближенной к полусферической, понимаете?

– Круглая? – Ника распахнула буфет и показала маленькую кофейную чашечку. – Вот такая?

– Да, да, приблизительно такая... лучше чуть побольше. Вы пьете кофе не торопясь, маленькими глотками и думаете о чем хотите. Естественно – о том, что вас в данный момент заботит, беспокоит или, напротив, радует... Затем вы пустую чашку быстро переворачиваете от себя – вот так, непременно левой рукой, это очень важно – и ставите вверх дном на блюдец. И все!

– Как – все? – разочарованно спросила Ника.

– В том смысле, что от вас больше ничего не требуется. Потом начинаю действовать я! Гуща, когда вы переворачиваете чашку, со дна расплескивается на стенки и образует определенный узор, истолковать который и есть дело гадалщика. В этом узоре – в этих коричневых разводах, образованных застывшей кофейной гущей, – мне видна вся ваша судьба...

Ника смотрела на него разинув рот. К сожалению, никаких оккультных тайн узнать больше не удалось, потому что в этот момент их позвали и пришлось вернуться в столовую. Там все уже было мирно, спорщики наконец утомились и теперь обсуждали сроки и маршрут поездки.

– У Артура тоже есть права, так что мы можем меняться за рулем, – говорил Юрка. – Я бы ехал без ночевки. Подменяя друг друга, можно запросто отмахать за сутки полторы тысячи километров. Я в прошлом году в одиночку делал девятьсот без особой усталости.

– Зачем лететь сломя голову? – возразила Елена Львовна. – Ну, приедете на море днем позже – не такая уж потеря...

– Правильно, – поддержал Иван Афанасьевич. – Доедете в первый день до Белгорода, заночуете в тамошнем кемпинге, как раз будет полпути. А утром спокойненько, не торопясь двинете дальше, и вечером вы уже в Крыму. Это же опасная штука, ребята, сколько я видел несчастий на дорогах... и сам бился, и видел, как другие бьются... Первую свою машину – отличнейшая была «Татра», восьмицилиндровая, с воздушным охлаждением, – я расшиб вдребезги, в Германии еще дело было. Не знаю, как жив остался... «Татра» эта по автобану давала полтора часа в час без всякой перегрузки – красота, идет, бывало, как зверь, только свист слышен в воздухозаборниках, будто у нее сзади турбина...

– Вы так вкусно рассказываете о скорости, – засмеялся Адамян, – и в то же время уговариваете нас ехать потихоньку...

– Э, сравнили! – Иван Афанасьевич грузно поднялся из-за стола. – Мне тогда терять нечего было: молодой, без семьи... то есть я хочу сказать, семья была не со мной, – быстро поправился он, на мгновение смешавшись. – Да и оставалась еще этакая, знаете ли, фронтовая лихость – двум смертям не бывать, а одной не миновать, сегодня ты жив, завтра тебя нет, тут уж было не до осторожности. У вас дело другое, я вам обеих дочек своих доверяю!

Он шутливо погрозил пальцем и посмотрел на часы.

Ну, пойду вздремну, вы извините, мне вечером поработать придется. А насчет отъезда решайте уж сами, можете хоть завтра с утра ехать, если все готово...

Глава 9

На следующий день старт не состоялся, потому что утром у Светланы начался приступ мигрени – обычно это бывало как минимум на сутки. Родители уехали на работу, Юрка возился с машиной, Светлана лежала в темной комнате с грелкой на голове, Адамян засел за рояль и негромко наигрывал что-то элегическое – возможно, Грига, Ника не была уверена. Самой ей заняться было нечем, а читать не хотелось.

Томясь бездельем, она побродила по комнатам, потом натянула старый тренировочный костюм, спустилась во двор и заползла к Юрке под машину. Здесь было прохладно.

– Тебе помочь чем-нибудь? – спросила она.

– Чем же ты мне поможешь, только измажешься... Ну, хочешь, так подавай инструменты. Не простудись смотри на асфальте – а то подстелила бы, в багажнике есть брезент.

– Ничего, асфальт не холодный...

Некоторое время работали молча. Ника послушно вкладывала в Юркину черную от масла и грязи руку то ключ на четырнадцать, то ключ на семнадцать, то шприц, то еще что-нибудь такое же грязное и железное. Потом, набравшись храбрости, спросила небрежным тоном:

– Послушай, а тебе нравится Адамян?

Юрка ответил не сразу – ключ в его руке, которым он затягивал какую-то гайку, сорвался в этот момент, с силой ударив в днище; Нике на лицо упал кусочек сухой грязи, что-то посыпалось, едва не запорошив глаза.

– А, ч-черт, – с болезненной гримасой прошипел Юрка и подобрал звякнувший об асфальт ключ. Лишь кончив затягивать гайку и попросив у Ники плоскогубцы, он сказал: – Арт хороший экспериментатор...

Ника подождала продолжения и спросила:

– Нет, а как человек?

– В этом смысле я ведь его не очень знаю, – опять помолчав и как бы нехотя ответил Юрка. – Мы работаем в разных отделах, он в экспериментальном, я в теоретическом... Но вообще-то он парень вполне... Черт, все-таки руку я себе расшиб порядочно. Есть у вас в машине аптечка?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.